КРОПОТКИН

ВЕК ОЖИДАНИЯ



ПЕТР КРОПОТКИН

ВЕК ОЖИДАНИЯ

КНИГОИЗД-ВО „ГОЛОС ТРУДА"
МОСКВА
1925 г.

П. Кропоткин



ВЕК ОЖИДАНИЯ

СБОРНИК СТАТЕЙ

Перевод с французского Н. А. Критской.

Под редакцией **Н. К. Лебедева.**



Книгоиздательство „ГОЛОС ТРУДА“
Москва. 1925.



(Главлит № 17262)—г. Москва. Тираж 3000 экз.

Типогр. Возд. Фл., Ул. Разина, 5.

ВЕК ОЖИДАНИЯ*).

I.

Для астрономов новый век начинается с началом столетия, так девятнадцатый век для них начинался с 1801 года, а двадцатый—с 1901 года. Но для историка такой счет, по столетиям, не имеет ровно никакого значения. Историк считает эпохи по тем историческим событиям, которые оставляют большой след в жизни людей. Такими событиями являются, главным образом, революции. Революции, разрушая в течение немногих лет предрассудки народных масс и отжившие социальные и политические учреждения, дают направление для последующей эволюции, которая развивает идеи, провозглашенные предшествовавшей революцией до тех пор, пока народное восстание новой революции не откроет новой эпохи прогрессивного движения.

Однако, за последние пятьсот лет в Европе век исторический, то-есть период, ограниченный от предшествующего какой-либо большой социальной рево-

---

[1]) Эта статья первоначально была напечатана в газете «La Révolte», в январе—марте 1889 г., а затем вышла в Париже в 1893 году отдельной брошюрой.

Примечание Н. Лебедева.

люцией, почти совпадал с веком астрономическим. На самом деле, конец каждого из последних пяти столетий был отмечен одной из тех великих революций, которые накладывают новый отпечаток на дальнейший ход развития человечества. В 1789 г. революция вспыхнула во Франции, вслед за революцией в Соединенных Штатах Северной Америки. С 1648 по 1688 г. революция охватила Англию, с 1567 по 1580 г. мы наблюдаем революцию в Голландии. В конце XV столетия революция происходила в Швейцарии, а в конце четырнадцатого—в Богемии.

Все заставляет думать, что и наш век не будет исключением из этого правила. Вероятно, астрономы не успеют еще отметить наступление двадцатого века, как великая революция завершит истекающее девятнадцатое столетие и даст новое направление развитию социальной жизни человечества.

Действительно, период, протекающий между двумя большими революциями, всегда имеет резко очерченный характер, носящий на себе печать той революции, какой он начался.

Народы стремятся воплотить в социальной жизни и в своих учреждениях наследия, завещанные предшествовавшей революцией; но так как революционные идеи и идеалы сознаются обществом не в полной ясности, то после каждой революции, на ряду с идеями порожденными ею, сохраняются и старые и, таким образом, возникают в обществе новые предрассудки и устанавливаются новые привилегии.

Народ борется, он пробует делать попытки восстания, как это было во Франции в 1848 и 1871 гг., чтобы воплотить в жизнь принципы предыдущей великой революции; но эти частичные революции оканчиваются большей частью неудачно и приходится ждать когда общее недовольство охватит все общество; когда старые учреждения не соответствуют более требованиям народа, тогда новая революция становится необходимой и неизбежной. Жизнь требует новых лозунгов, новых путей.

Таков ход истории. Таким образом, взгляд на предшествующую великую революцию, поможет нам, имеющим счастье жить накануне новой великой революции, лучше понять, что нам нужно делать при ее наступлении, чтобы проявить нашу волю и разрушить учреждения, мешающие движению вперед.

Два великих факта характеризуют время, протекшее со времени великой французской революции 1789 года. Оба эти явления—плод этой революции, которая, продолжая дело революции английской, расширила это дело и вдохнула в революционные идеи новые требования. Эти два великих факта социальной жизни девятнадцатого века—уничтожение рабства и уничтожение абсолютизма. Первое заменено в наши дни капиталистическим способом производства, а второе—парламентаризмом.

Уничтожение рабства и уничтожение абсолютной власти королей и императоров дали человеческой личности свободу, о которой раб и подданный короля

никогда не смел мечтать. Однако, в конечном итоге, это освобождение личности завершилось самодержавием капитала — вот дело девятнадцатого века. Капитализму, власть которого впервые во Франции проявилась в эпоху Великой Революции, потребовалось сто лет, чтобы окончательно завоевать Европу.

Но едва его волны, гонимые с Запада, докатились до Черного моря и до границ Азии, как в обществе возникли новые стремления,—стремления к социализму, и в наши дни снова готова вспыхнуть революция, чтобы дать удовлетворение жажде свободы и равенства для всех.

Дело освобождения, начатое французскими крестьянами в 1789 г. (или, вернее, в 1788 г.) продолжалось в Испании, Италии, Швейцарии, Германии и Австрии армиями французских санкюлотов. К сожалению, оно едва проникло в Польшу и совсем не коснулось России.

Европа покончила бы с рабством и с крепостным правом еще в течении первой половины девятнадцатого столетия, если бы французская буржуазия, придя через трупы анархистов, монтаньяров и якобинцев, к власти, не задержала бы революционного порыва и, восстановив в 1796 г. монархию, не отдала бы Францию в руки шарлатана — императора Наполеона первого.

Этот бывший генерал санкюлотов поспешил быстро восстановить права аристократии. Но институт рабства не мог уже более оправиться от смертельного удара, нанесенного революцией. Рабство всюду

было уничтожено в Западной Европе. Несмотря на реакцию, в Германии оно совершенно исчезло в 1848 г.; русский царь и помещики вынуждены были освободить крепостных в 1861 г., а война 1878 г. нанесла смертельный удар рабству на Балканском полуострове.

В наши дни цикл завершен. Права помещика на личность крестьянина не существует больше в Европе; не существует даже там, где все еще не окончен выкуп феодальных прав, т.-е. в России, которая благодаря именно этому находится в данный момент как-раз в таком же положении, в каком находилась Франция накануне своей Великой Революции 1789 г.

Большинство историков пренебрегают этим фактом. Погруженные в вопросы политики, они, излагая историю девятнадцатого века, говорят нам о науке, о религии, о войнах и т. п., но обходят молчанием этот наиболее важный факт социальной жизни Европы—уничтожение рабства.

Уничтожение рабства является самым существенным и главным фактом нашего века. Соперничество между европейскими нациями и войны, политика Германии, Франции и Италии, которой так много занимаются в наши дни—все это лишь следствие одного крупного факта—уничтожение личного рабства, которое позволило сильно развиться рабству капиталистическому.

Французский крестьянин, возмутившись сто лет тому назад против помещика, заставлявшего его пу-

гать лягушек, чтобы они не квакали, пока спит барин, освободил своим восстанием крестьян всей Европы. Сжигая документы, которыми было узаконено его рабство, поджигая замки и казня в течение четырех лет помещиков, отказывавшыхся признать его человеческие права, он привел в движение всю Европу, освободившуюся постепенно повсюду от унизительного института рабства.

*
* *

С другой стороны, процесс уничтожения абсолютной власти королей и императоров также потребовал сто лет, чтобы совершить в Европе свой цикл. Королевская и царская власть «божьей милостью» существует в настоящее время только в России и в Турции, но и в этих странах она доживет свои последние дни. Даже самые мелкие государства Балканского полуострова имеют теперь свои парламенты - говорильни; эти говорильни позволяют буржуазии управлять народами также, как раньше управляли короли при помощи своих чиновников.

Таким образом в этом отношении французская революция 1789 г. сделала свое дело. Все европейские государства, за исключением России и Турции, имеют теперь представительное правление, и их конституции проникнуты теорией равенства всех граждан перед законом. Идеи, воодушевлявшие наших дедов, осуществлены в законах. В теории закон одинаков для всех, и все имеют право участвовать в управлении страною.

Мы, конечно, хорошо знаем, как обстоит дело в действительности. Мы знаем, что знаменитое равенство «перед законом»—это лишь пышный занавес, за которым скрыто все также рабство бедняка и абсолютная власть капитала. Мы отлично знаем цену законов и самого образа представительного правления, при помощи которых буржуазия осуществляет власть, отнятую у королей.

Точно так же, когда нам говорят о великих принципах 1789 или 1793 гг.—а не так давно речи на эти темы лились целыми потоками,—мы отвечаем, что эти принципы дали все, что они могли дать. Если свобода не существует, если равенство остается мечтой, а братство звучит в наше время насмешкой, то это не потому, что эти основные принципы великой французской революции не получили своего полного приложения, а потому, что они сами по себе еще недостаточны.

Другие принципы - более плодотворные чем те, которые буржуазия торжественно провозгласила в пышных фразах своих Деклараций,—были формулированы в революционных клубах 1789—93 гг. Об этих принципах очень неохотно и с отвращением упоминают современные буржуазные историки, потомки тех буржуа, которые в 1793 г. беспощадно гильотинировали «зачинщиков анархии», громогласно проповедывавших эти принципы. Но гильотина не могла искоренить из народного сознания этих принципов. Они живут в недрах масс: они созрели, облекшись

плотью за эти сто лет, они наложили более или менее отчетливо, свой отпечаток на все наиболее важные события текущего века и об этих-то принципах, проклинаемых буржуазией и приветствуемых рабочими, мы будем говорить. Мы постараемся проследить, как зародились они, как росли и развивались, и наконец, теперь готовы проявиться в жизни, в буре грядущей революции.

II.

Уничтожение рабства и политического абсолютизма—таково было дело, выполненное девятнадцатым веком. Но с какой медленностью и с какими отступлениями совершалось это дело. После того, как буржуазия достигла власти во Франции, с тех пор, как она получила возможность безответственной эксплоатации рабочих, она поспешила заключить мир с дворянством, которое она беспощадно истребляла в 1793 г.

Буржуазия приветствовала императора, призванного ею остановить революционное движение, которое пошло дальше лозунгов буржуазии и уже выставляло на своем знамени уравнение состояний и идеи социализма, ясно выраженного в учении Бабефа и его товарищей.

Позднее буржуазия во Франции вновь призывает Бурбонов, спешит возвратить эмигрировавшим во время революции дворянам часть их земель, поддерживает королевскую власть против народа при Карле X

и Луи-Филиппе, удерживает цензовое избирательное право до тех пор, пока политический авантюрист, пользуясь своей родственной связью с первым Наполеоном, не восстановляет всеобщего голосования для того, чтобы опереться на народные массы и при помощи их добраться до императорской короны. Во Франции буржуазия дважды топила в крови республику, провозглашенную парижским рабочим народом.

Буржуазия до тех пор не хотела признавать республику, пока не уверилась, что республика так же, как и монархия, не затронет ее привилегий и будет бороться с социалистическими стремлениями, которые народ инстинктивно соединял с представлением о республике как в 1793 г., так и 1848 г.

Что касается других европейских наций, то Германии, например, понадобилась революция 1848 г. для того, чтобы покончить с рабством и сделать первые шаги к конституционному режиму. Понадобились бесчисленные бунты крестьян в Италии и в России, чтобы и в этих странах был положен конец личному рабству крестьян. Понадобился непрерывный ряд восстаний, упорная борьба, многочисленная армия мучеников и мятежников—революционеров, чтобы это дело было выполнено.

Девятнадцатый век выполнил программу великой французской революции. Помещик — хозяин земли и крестьян, живущих на этой земле,—исчез с исторической арены. Буржуазия встала на место дворянского класса и всюду царствует в Европе; и если

в России прежние рабовладельцы вновь приобрели влияние со времени вступления на престол Александра III, их власть может быть очень непродолжительна. В России, как и везде, управляет буржуазия и самодержец Александр третий — только ее первый слуга. Он считает себя самодержавным монархом, но он не смеет сделать ни одного шага, не спросив, что думают об этом московские фабриканты и финансовые тузы.

В Бельгии избирательное право еще ограничено. В Германии власть парламента ничтожна, в сравнении с Англией и Францией. Но в настоящее время лишь наивные люди могут еще воодушевляться борьбой за всеобщее избирательное право и за верховенство парламента. Всякий здравомыслящий человек теперь понимает, что ни всеобщее избирательное право, ни верховенство парламента ничего не меняет. Правительство при всяких конституциях представляет и защищает интересы буржуазии. В Германии Бисмарк был сильнее парламента потому, что начав свою карьеру как защитник земельного дворянства, он во-время переменил фронт. Став на сторону буржуазии, против притязаний помещиков, он остался хозяином положения и во главе политической власти.

* * *

Девятнадцатый век имеет в своем активе еще и другое завоевание, о котором следует упомянуть

Он первый признал *права национальностей.* В этой области дело также близится к своему завершению.

Греция, еще недавно изнывавшая под игом турок. свободна. Италия, бывшая еще не так давно разделенной на части, едина. Венгрия независима. Балканские народы более не подчинены туркам. Остаются еще Ирландия и Польша, которые стремятся завоевать свою независимость. Финляндия, живущая под постоянной угрозой каприза русского царя, и мелкие славянские национальности, угнетаемые теперь Венгрией так же, как сами венгерцы были когда-то угнетаемы немцами; Сербия и Болгария являются игрушками в руках двух могущественных соседей — императоров русского и австрийского.

Национальный вопрос может показаться рабочим Западной Европы незначительным и не стоящим внимания. Они, к счастью, не знают, что значит жить под иностранным владычеством, испытывать стеснения в своих обычаях, переносить оскорбления от чванства так-называемого «господина», от его презрения к завоеванной расе. Но для тех, кто страдает от чужеземной тирании, национальная независимость важнее всего остального.

В угнетенных национальностях крестьянин об'единяется с помещиком в общей ненависти к политическому угнетателю, забывая, что его земляк-помещик в свою очередь будет также жесток, как и иностранный властитель, как только сделается политическим господином.

В подчиненной нации, у народа, находящегося в политической зависимости у другого народа, задушена в самом зародыше возможность духовной и социальной эволюции. Посмотрите на Сербию: она не знала социального вопроса до того момента, пока не освободилась из-под ига турок. Едва только турецкое иго было свергнуто, социальный вопрос в Сербии принимает угрожающие размеры. Попробуйте заговорить о социализме с ирландцем, он вам тотчас же ответит: «прогоните сначала англичан». Он ошибается. Конечно, он ошибается; но расовая ненависть глуха к доводам разума. История девятнадцатого столетия — это длинный мартиролог патриотов, стремившихся освободить народы от чужестранного ига.

Мы удивляемся теперь русской молодежи, мы восторгаемся ее преданностью революционному идеалу, мы оплакиваем ее страдания. Но мы знаем, что все эти страдания бледнеют перед теми, каким подвергались члены тайных обществ «Молодой Венгрии», «Молодой Польши», «Молодой Италии», об'единенные общей идеей освобождения своего отечества.

Таково прошлое. Перейдем к будущему.

Обширные горизонты открываются перед нами-горизонты, которые обещают человечеству осуществление его высших стремлений, и в этом отношении дело девятнадцатого века громадно, грандиозно. Никакой другой век не подготовил того, что будущая революция обещает нам нашим преемникам. Мы можем считать себя счастливыми именно потому,

что живем **в этом великом** столетии, накануне **величайшей** мировой революции.

III.

Всякая **реформа**—всегда компромисс с прошлым, она всегда довольствуется большим или меньшим его изменением; между тем, как **революция** порождает руководящую идею для будущего. Как бы ни малы были результаты, достигнутые революционным путем, они всегда являются залогом дальнейшего прогресса. Реформа оглядывается на прошлое. Революция смотрит в будущее и далеко обгоняет свой век. Эта тенденция проходит через всю историю и в особенности через наш девятнадцатый век, после эпохи французской революции 1789—93 годов.

Как бы ни была буржуазна французская великая революция в смысле своих результатов, она, тем не менее, посеяла в обществе семена **коммунизма** и **анархизма**. Те, кто хочет заставить нас верить что французская революция не имела другой цели, кроме уничтожения последних следов феодализма и ограничения королевской власти, доказывает или свое полное невежество или недобросовестность.

Целый народ не восстает из-за таких пустяков; он не поддерживает открытого восстания в течение четырех лет с единственной целью уничтожить умирающие учреждения или изменить правительство. Чтобы разразилась такая грандиозная революция, которая происходила в минувшем веке, нужно, чтобы

целый поток новых идей проник в массы, чтобы в уме народа образовался новый мир, основанный на новых отношениях и новой морали.

* * *

Перечитывая сочинения Дидро, Руссо и даже тех кто, как Сийес и Бриссо, сделались впоследствии ярыми защитниками прав буржуазии, мы видим, что все эти мыслители были пропитаны социализмом, или вернее, коммунизмом. Только после чтения всех брошюр и памфлетов эпохи великой революции мы начинаем понимать, что рычаг, поднявший французский народ и давший ему необходимую энергию для борьбы против заговорщиков внутренних и внешних, было предвидение коммунистического будущего.

Даже самая формула—«Свобода, равенство, братство»—была не пустым словом в эту эпоху: за нее умирали, и это достаточно говорит о том, что видел французский народ в революции.

Идеи предшественников французской революции могли бы служить нам программой и теперь. Дидро, если не в своей жизни, то по меньшей мере в своих трудах, был глубоко анархичен. Стремление к коммунизму вдохновляло Жан-Жака Руссо в его лучших произведениях, и его громадное влияние на современников об'ясняется именно обаянием коммунистических идей. И если Руссо, несмотря на свою блестящую критику современного ему строя, кончил созданием жалкого идеала Швейцарской республики,

он, тем не менее, отрицал право присвоения земли и осмелился заявить, что существование правительства может быть оправдано лишь в том случае, если бы оно состояло из ангелов, т.-е. из существ совершенно безупречных и чистых. Не отрицал ли права собственности и сам Сийес, этот будущий сообщник буржуазии. Не превозглашал ли Бриссо, что «собственность кража» — изречение, повторенное позднее Прудоном и ставшее популярным во второй половине XIX века. Вслед за этими мыслителями целый ряд других, менее известных писателей пропагандировали идеи коммунизма в эпоху французской революции в сотнях брошюр и книг.

*
* *

Освященная временем легенда представляет 14 июля 1789 г., день взятия Бастилии, как бунт против королевской тирании. Но нам забывают сказать, что за два дня перед этим, 12-го июля народ начал грабить богачей и что если буржуазия поспешила вооружиться, то она сделала это столько же для защиты от босяков, сколько и для борьбы с королем.

Буржуазия организовала свою милицию в провинциальных городах тотчас же после взятия Бастилии, чтобы бороться с теми, кого она называла «разбойниками».—«Разбойники идут, вооружимся»,—таков был клич, переходивший из уст в уста по всей Франции.

Но кто же были эти разбойники, с которыми буржуазия сражалась и которых она вешала без

счета. Разбойники эти были социалисты и анархисты того времени, это были массы деревенской бедноты, восставшей против своих помещиков, дворян и буржуа.

Впоследствии те, кого Минье в своей «Истории французской революции» называет анархистами (как видим, слово это старо), были тем же народом, той же массой, которая благодаря антикоммунистическим и антиэгалитарным (противоречащим равенству) мероприятиям учредительного и законодательного собраний и Конвента, восстановила жакерию в городах и деревнях, провозгласила Коммуну, овладела продовольствием, вешала ростовщиков, отбирала имущество от богатых буржуа и поддерживала своими выступлениями революционное движение.



Да, наши деды, революционеры 1789—93 гг. были *коммунистами*. Конечно, их идеи о коммунизме были довольно туманны и неопределенны. Они не сумели ясно нарисовать основные черты коммунистического общества и при том они увлеклись мероприятиями, с виду эгалитарными, но, в действительности носящими в себе зародыши будущего неравенства.

Выросши в рабстве, они, провозглашая свободу личности, забывали, что свободных людей должно об‘единять чувство солидарности друг с другом, а не в л а с т ь с одной стороны и п о д ч и н е н и е—с другой стороны. Идеал будущего общества еще не вполне определенно вырисовывался в умах революционеров

1793 г., но тем не менее, этот идеал был несомненно **коммунистическим.**

Уничтожая последние следы феодализма, крестьяне стремились провозгласить национализацию земли. право каждого на ее обработку, и давали взаимную клятву обеспечить жизнь и работу для всех.

Уничтожая средневековые деления, а также привилегии городов, городские рабочие утверждали право довольства для всякого трудящегося. Коммуна, о которой они мечтали, не находя слов для выражения своей мысли, была коммуной равных, об'единенных общим трудом.

Народ — хозяин земли, рабочий—хозяин орудия производства, и коммуна, самоорганизующая свой труд и свое потребление — такова была, несомненно, идея, воодушевлявшая революционеров 1793 г. Мысль еще смутная, слишком неопределенная, чтобы найти реальные формы воплощения, но тем не менее могущественная. Она часто пробивается в речах народных ораторов этой эпохи.

И когда пролетарии увидели, как действительность мало походила на их мечты, когда они поняли, что они обмануты, то они принялись за организацию тайных обществ, открыто коммунистических, каким был, например, «Союз равных» Гракха Бабефа.

Но было уже поздно. Революция уже изжила свои силы, и все усилия поднять народ на новую борьбу— не привели ни к чему.



Франция подпала под власть разбойника. Последовал белый террор, не менее жестокий, чем кровавые дни 1793 г. Но тем не менее семена были уже брошены. Великая революция завещала довершить свое дело новым поколениям.

И спустя пятьдесят лет возродившийся коммунизм заставил французский народ подняться для новой революции 48-го года.

Идеи коммунизма также обошли весь мир. Роберт Оуэн, Фурье, Сен-Симон, революционеры 48-го года, конгрессы Интернационала—все они стремились выяснить идеал коммунизма и формулировать его идеи. Наследие революции росло и развивалось. И век, начавшийся этой революцией, будет, вероятно, называться в истории будущего веком зарождения социализма.

IV.

Скрытой пружиной, дававшей нашим дедам, революционерам 1793 г. силу бороться против всех внутренних и внешних врагов, было, конечно, их стремление к равенству экономических условий. Стремление к этому идеалу можно заметить во всех происходивших с тех пор революционных движений— и философских, и народных.

Идея созрела. Она стала более ясной. Она нашла, наконец, свое полное выражение в наши дни в анархическом коммунизме.



Мы уже говорили выше, что идеал мятежников 1789—93 гг. был довольно не ясен. Крестьянин не хотел, чтобы от него отнимали половину его жатвы; он не соглашался больше переносить, чтобы какой-нибудь бездельник был владельцем обрабатываемой им земли. Крестьянин видел, как земля, принадлежащая до тех пор всей коммуне, переходила в руки помещика и как закон санкционировал этот разбой. В революцию крестьянин стремился захватить все земли, не задаваясь вопросом, как их будет распределять коммуна, когда они станут коммунальной собственностью. Поэтому-то значительная часть земли и оказалась экспроприированной только для того, чтобы попасть в руки буржуазной черной сотни. И в то время, как сельская буржуазия обогатилась, сельские пролетарии остались после революции такими же бедняками, какими они были и до революции.

В то же время городские рабочие, восставая против феодализма в области промышленности, не знали, что следует поставить вместо старых порядков. И лишь много позднее, по мере того, как разгоралось пламя революции, перед рабочими вырисовывался смутный идеал коммунистической общины, обязанной заботиться о продовольствии работников, доставляя им работу, уничтожая неравенство состояний. Экономическое равенство сделалось девизом городских пролетариев.

Но перед рабочими встал вопрос, как осуществить это экономическое равенство.

— «Очень просто. Гильотинировать богатых, а санкюлотов избрать в Городскую Думу и в Конвент».—Таков был ответ, единственный ответ, который народ мог дать в эту эпоху. И теперь еще, спустя сто лет, встречаются революционные якобинские секты, мешающие народу изучать меры, которыми можно обуздать эксплоататоров; люди которые хотят, чтобы народ занимался только гильотинированием, а они, мудрецы и ученые, уже позаботятся впоследствии о разрешении всех экономических вопросов.

И в 1793 г. гильотинировали. богатые и бедные, дворяне и плебеи, королевы, принцессы—все подвергались оценке с точки зрения патриотизма. Но на место одного гильотинированного аристократа являлось десять буржуа, таких же жадных, или даже еще более жадных, к добыче, чем обезглавленный помещик.

И черные банды буржуазных выскочек грабили Францию.

Биржевой игрой создавались богатства, перед которыми меркли состояния прежних богачей. Тогда именно Ротшильды заложили фундамент своего колоссального состояния.

Народ боролся против нарождавшейся буржуазии. Он очистил Конвент и Коммуну при помощи гильотины: он возвеличил Марата и обезглавил Жирондистов. Но все это повело лишь к тому, чтобы раз

вязать руки тем, кого раньше называли не иначе как «болотными жабами». Со временем свирепые террористы превратились в благонамеренных патриотов во времена Директории, в сенаторов при Бонапарте и до сих пор еще управляют нами под различными названиями—то оппортунистов, то либералов, то радикалов.-



После того, как революционеры из народа были обмануты, после того, как сама революция была побеждена, после триумфа реакции и кровавых репрессий белого террора, многие мыслители и ученые принялись за более тщательное изучение проблемы, завещанной великой революцией девятнадцатому веку.

«Равенство экономических условий»—таков был завет умирающей революции. И повинуясь народному инстинкту, стремившемуся осуществить этот завет, деятели трех последующих поколений: Фурье, Роберт Оуэн, Сен-Симон, Кабэ и многие другие—предприняли колоссальный труд изложить коммунистические и социалистические идеи в стройной и полной системе. Все эти мыслители в своих исследованиях не сделали ничего иного, как только формулировали неясные идеи, бродившие в умах французов и англичан того времени. Они ничего не изобрели, точно так же, как и анархические мыслители наших дней не изобрели теорий, развиваемых

нами теперь. Они старались лишь выразить идею, жившую в народном сознании.

Основная идея, руководившая ими, была такова: «революция, конечно, улучшила положение большинства. Но она создала условия, которые неизбежно опять привели к эксплоатации человека человеком».

С изобретением паровой машины человечество вступило в новую эру. Это изобретение предоставило к услугам человека миллионы железных работников-машин и создало возможность увеличить в сотни раз производство необходимых для жизни продуктов.

Однако, положение, созданное революцией, позволяет одним только буржуа извлекать пользу из колоссального развития техники. Почему?

Потому, что земля остается в руках немногих вместо того, чтобы принадлежать всем. Потому, что работник не может не продавать своего труда. Потому, что рабочий трудится на хозяина, а не на все общество.

«Нужно, следовательно, сделать труд общественным. А это будет возможно лишь тогда, когда общество будет построено на коммунистических началах. Работа сообща, для общей цели, будет гарантировать существование каждого, позволит использовать целиком весь технический прогресс в интересах и на благо всех и увеличит в сотни раз нашу производительность при гораздо меньшей, чем теперь, затрате сил.

«Без этих условий можно сколько угодно гильотинировать людей, можно сколько угодно лишать их собственности; — все это будет безполезно. Пока земля и орудия производства будут лишь переходить из одних рук в другие, а не будут общественной собственностью, эксплоатация человека человеком будет господствовать попрежнему».

Такова была исходная точка всех рассуждений коммунистических школ первой половины девятнадцатого века.

Но как организовать коммунизм. Как упрочить его, если бы удалось его осуществить. Вот вопросы, встававшие перед каждым мыслителем, и каждый из них разрешал эти вопросы по своему.

V.

Вся история человечества есть история непрерывной борьбы между народными массами, стремящимися организовать общественную жизнь на принципах братства, равенства и свободы, и меньшинством, стремящимся создать для себя на счет труда других праздную и приятную жизнь. Цивилизации создавались и разрушались, империи возникали и исчезали, войны обагряли мир кровью — но всегда и всюду основной причиной всей социальной борьбы была противоположность интересов управляемого большинства и правящего меньшинства.

Социальная борьба принимала в разные эпохи истории различный характер в зависимости от места

и времени. Так, в древнем мире греки и римляне стараются создать свое благосостояние путем порабощения других народов.

Позднее, под влиянием новой морали буддизма и христианства, народы начинают стремиться к равенству. Затем, опять возвращаясь снова к идеалу Греции, городское население стремится создать общественную жизнь на началах свободы и равенства в пределах укрепленного города, являющегося своего рода коммуной. Но эти зачатки свободных организаций не распространялись за стены городов; они были одинокими оазисами среди порабощенных деревень, и свободные средневековые города-коммуны пали.

Тогда народные массы бросились в об'ятия католической церкви. Ведь церковь проповедовала равенство и братство, почему бы не признавать ее авторитета. Но церковь обманула доверие бедных: она воспользовалась им, чтобы в свою очередь стать худшим из эксплоататоров. Тогда, после пятнадцати веков исповедания ортодоксального христианства, народные массы двинулись к своему освобождению во имя христианства реформированного: «долой римское духовенство». «Пусть каждый, пастух, рабочий, крестьянин, толкует библию так, как он ее понимает, а они понимают ее в коммунистическом духе». «Долой законы»—проповедовали анабаптисты, анархисты той эпохи, вынесшие на себе всю тяжесть революции «Долой законы. Пусть совесть каждого человека будет верховным судьей в коммунистическом обществе»

И вот, на протяжении более чем ста лет Европа была охвачена пламенем восстаний: крестьянин и горожанин стремятся к освобождению и пытаются организовать сельские и городские коммуны. Но они были вскоре раздавлены союзом буржуазии и князей, и в результате всего движения возникла лишь реформированная церковь, протестантское духовенство, так же жаждущее золота и власти, как и римское духовенство, да несколько общин «Моравских братьев», которые впоследствии, эмигрировавшие в Гренландию и Америку, стали эксплоатировать гренландцев и негров.

После этого великого религиозного народного движения массы, потеряв доверие к церкви и к религии, покорно отдаются в руки светских королей и императоров, которым подчиняется даже и сама церковь.

Народ надеется, что, быть может, король или император, стоящие над духовенством и дворянством, положат конец угнетению. Но король изменил народу так же, как и поп. Сделавшись властителями над помещиками и феодалами, короли удесятерили тиранию в пользу своих фаворитов и союзников; к тирании помещика король прибавил еще тиранию государства. Он разорил своих подданных, отдав их сначала дворянам, а затем буржуа, с которыми поспешил разделить свою власть.

*
* *

Таким образом, все пути были испробованы, но ни один путь не привел к свободе. Тогда зародились

в умах новые идеи, которые и нашли свое выражение в философии восемнадцатого века. Эта философия, проникшая частично в умы народа, и воодушевляла революционеров 1789—93 гг. В девятнадцатом веке принципы философии восемнадцатого столетия углубились и расширились под влиянием новейшего экономического развития и нашли свое выражение в анархическом коммунизме.

Принципы этой философии крайне просты: «Не стремитесь строить ваше благополучие и вашу свободу на господстве над другими; властвуя над кем-либо, вы никогда не будете свободны. Увеличивайте вашу производительность, изучая природу; ее силы, подчиненные гению человека, в тысячу раз превосходят силы всего человеческого рода. Освободите личность, ибо без свободы личности не может быть свободного общества. Не передавайте дела вашего освобождения ни в чьи руки — ни в руки духовной власти, ни в руки светской власти: помогайте сами себе. И чтобы достигнуть успеха, порвите как можно скорее со всеми религиозными и политическими предрассудками. Будьте свободными людьми и верьте в здоровый инстинкт человеческой природы: худшие из присущих человеку пороков являются результатом власти, одинаково развращающей и властителей и подвластных».

* * *

С первого же взгляда на эти принципы ясно видно насколько они отличаются от того мировоззрения, которое господствовало раньше. Часто, говорят, однако,

что «коммунизм стар». Да, это верно. Коммунизм, как стремление народных масс к более справедливой жизни, стар, он существовал уже в древности, но практика современного коммунизма нова.

Научив нас тому, что мы должны делать для нашего освобождения, восемнадцатый век дал нам и фактическую возможность стать свободными.

В самом деле, мог ли человек освободиться в то время, когда при самом усердном труде он едва в состоянии был произвести столько, чтобы прожить до следующего урожая, и оказывался лишенным всяких средств к существованию, если урожай был плох.

Тот, у кого нет хлеба в запасе, неизбежно становится рабом имеющего его в избытке. И вот наука, рожденная лишь вчера, ибо она существует не более века, учит нас, как удесятерить производство. Десять человек при помощи машин могут теперь произвести работу, для выполнения которой раньше потребовалось бы более двухсот человек. Десять работников, присматривая за механическими ткацкими станками, производят в год такое количество материи, которое хватит для одежды на пятьсот человек. И тысяча рабочих с помощью машин в течении одного года могут построить и омеблировать целый город для 20—30 тысячного населения.

*
* *

Мог ли быть свободным человек, влачивший жизнь полудикаря и живший в атмосфере ужасов, создан-

ных его собственным воображением. Мог ли быть человек свободным, пока чудеса природы могли зародить в нем лишь идею бога, злого, корыстолюбивого и мстительного, как и его служители на земле, пока не за страх, а за совесть он подчинялся всякому схватившему палку, чтобы ударить его.

И вот наука рассеяла все эти ужасы: от них не останется и следа, когда все научные открытия нашего времени сделаются достоянием всех.

Возможно ли было говорить о свободе, пока человек считался по природе своей в высшей степени порочным, злым, ленивым существом, которое удерживает от преступления лишь страх перед чортом, судьей и палачом.

Как можно было проповедовать равенство, пока признавалось, что с массами следует поступать как со скотом, который бьют бичами и загоняют в хлев.

Христианские монахи востока изобрели всевозможные пытки, чтобы этим самым улучшить природу человека, чтобы изгнать дьявола, обитающего в каждом из нас. Нам смешно теперь все это, но те же самые взгляды, модернизированные и смягченные псевдо - научной болтовней, побуждают ученых мудрецов утверждать, что без жандармов и тюремщиков человек не может жить в обществе.

Но если официальная наука высказывается еще в пользу палача, попа (позитивистского или еще какого-либо другого,—безразлично) и политикана, самой жизнью все эти категории социальных паразитов осуждены на исчезновение.

Философия восемнадцатого века сделала все возможное, чтобы пропагандировать идею демократического государства и верховной власти закона, имеющего своим источником всеобщее избирательное право. Но жизнь показала самым наглядным образом всю ничтожность этих средств и тем самым разрушила последний оплот авторитаризма.

* * *

По мере того, как религиозные и государственные предрассудки теряли свою власть над умами людей, коммунизм захватывал все более и более широкий круг людей, делаясь достоянием как мыслителей, так и самого народа. Таким образом, развитие коммунизма от Фурье до наших дней—со всей его теоретической разработкой, практическими опытами и стремлениями, пускающими мало-по-малу корни—так же характерно для девятнадцатого века, как применение пара, как грандиозное развитие промышленности, как необычайная легкость и быстрота международных сношений.

Коммунизм прошел через те же фазы развития, как и народные движения минувших веков. Он начал с того, что был тесно связан с религией; первые зародыши коммунизма появились в первобытных общинах христиан и в монастырях. Позднее коммунизм освободился от религиозной опеки, но попытался приютиться под сенью государственной власти. Идеальная коммуна Кабэ «Икария» должна была управляться сильным правительством, в одно и то же

время и более могущественным, и более мягким, чем современные правительства.

Единственная уступка, которую авторитарный коммунизм решился сделать свободолюбивому духу нашего века, было федеративное устройство государства—коммуны должны подчиняться государству—нации.

Социалисты - поссибилисты еще и теперь придерживаются этого идеала государства—коммуны, между тем как некоторые марксисты остаются коммунистами, приверженцами государства—нации.

Только во второй половине девятнадцатого столетия в недрах анархического Интернационала утвердился коммунизм, не признающий ни бога, ни государства. Этот коммунизм еще молод. Но из предшествующего обзора эволюции коммунистических идей ясно видно, кому принадлежит будущее; ясно видно кто идет вперед, кто работает согласно с прогрессивной эволюцией и кто еще не порвал своих связей с прошлым.

*
* *

Новая цивилизация, народившаяся в Европе после падения старой цивилизации, проникнутой духом азиатского деспотизма, в течение целых пятнадцати веков боролась с враждебными силами, налегавшими на нее с востока. Европа должна была не только отражать вооруженные вторжения гуннов, монголов, турок и арабов, наводнявших ее долины и степи, ей пришлось также выдержать борьбу и с

политическими понятиями Востока, с его философией и религией.

И только освободившись от пагубного влияния восточных религиозных и политических понятий, Европа смогла создать свою науку, практическое применение которой в течение одного века изменило лицо мира, раздвинув его границы за пределы звездных туманностей; современная наука увеличила в тысячу раз силы и богатства человека и разбила все кумиры, принесенные с востока. Бог, государство, частная собственность, принудительный закон, условная мораль—все это свободная мысль современного человека не признает какими-то абсолютами и реальностями, не подлежащими изменению.

Однако, все эти понятия и пустые фикции, низверженные в теории, все еще продолжают засорять совесть и ум народа и нелепым хаосом громоздятся на его пути к свободе.

На нас, людей девятнадцатого века, история возложила задачу—очистить пути жизни от этих пережитков варварских времен.

Прошедшие века подготовили нам почву и, пользуясь уроками прошлого, мы должны разрушить все предрассудки, мешающие свободному развитию человечества, и тем самым показать, что мы стоим на высоте своей исторической задачи.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ИДЕЯ В РЕВОЛЮЦИИ[1]).

В наши дни слово *революция* часто слышится всюду; это слово раздается не только в устах обездоленных, недовольных существующим строем, но даже нередко и в устах собственников. Все чаще и чаще мы чувствуем первые содрогания грядущих социальных потрясений. И как всегда бывало при приближении великих социальных перемен, недовольные существующим порядком вещей спешат присвоить себе титул *революционера,* бывший когда-то столь опасным. Эти люди не задумываются над сущностью революции,—они противники существующего строя, готовы попытаться установить новый порядок — и этого для них достаточно, чтобы считать себя революционерами.

Этот прилив в ряды революционеров недовольных существующим строем, несомненно, увеличивает силу революционного движения и ускоряет приход революции. Но этот прилив в ряды революционеров лиц

[1]) Статья эта первоначально печаталась в виде отдельных очерков в анархической газете «La Révolte» под общим заглавием «Революционные очерки». В 1913 г. эти очерки были изданы отдельной брошюрой на французском языке

Прим. Н. Лебедева.

всевозможных убеждений и взглядов представляет в то же самое время и большую опасность, особенно для революции социальной.

Для свершения политической революции, для того, чтобы устранить лиц, стоящих во главе государственной власти и даже заменить одну форму правления другой, иногда бывает достаточно одного дворцового заговора или парламентской реформы при поддержке общественного мнения. Но для того, чтобы революция внесла хотя небольшие изменения в экономический строй, необходимо участие в революции самих народных масс. Без поддержки и сотрудничества народных масс социальная революция невозможна; необходимо, чтобы в каждой хижине, в каждой деревне нашлись бы люди, которые приняли бы участие в разрушении прошлого, надо, чтобы другие люди допустили это разрушение в той надежде, что это приведет к лучшему.

Именно, это-то недовольство, смутное, неопределенное, часто бессознательное, возникающее в умах людей накануне великих общественных потрясений, эта потеря доверия к существующему строю и дает возможность истинным революционерам выполнить великую титаническую задачу—в немного лет изменить учреждения, освященные долгими веками существования.

* * *

Но в то же время прилив в ряды революционеров элемента малосознательного и по своей сущно-

сти нереволюционного составляет подводный камень, о который так часто разбиваются и гибнут революций.

Когда наступает революция, ниспровергающая устои повседневной жизни, когда разгораются и обнаруживаются все страсти, хорошие и дурные; когда одновременно мы видим и самоотвержение и падение, трусость и героизм, борьбу личных интересов и столкновение мелких антипатий на-ряду с великими фактами самопожертвования; когда учреждения прошлого разрушаются, а контуры новых, идущих им на смену, лишь вырисовываются, постоянно меняясь, тогда громадное большинство тех, кто называл себя революционерами и содействовал приходу революции, спешат перейти в ряды защитников порядка.

Уличные волнения, неустойчивость нового революционного положения, неуверенность в завтрашнем дне, все это начинает этих людей утомлять.

Они боятся, что в революционной буре погибнут все завоевания революции, эти люди не понимают, что самое малейшее изменение экономических условий жизни влечет за собою глубокое изменение во всех политических воззрениях общества и что всякое политическое изменение может произойти лишь вследствие глубоких перемен в экономической жизни.

И когда они видят, что контр-революция приближается, они спешат себя реабилитировать. Народные страсти, подчас грубое их проявление, а еще в боль-

шей их степени—мелкие споры революционных главарей—их отталкивают. Они пресыщаются революцией и вступают в ряды тех, кто призывает к порядку и к спокойствию.

Прошлое находит среди них своих защитников, тем более энергичных, что они отчасти сами пострадали от революции, хотя и не в очень сильной степени. Они начинают ненавидеть тех, кто зовет идти дальше. Такие люди представляют для революции тем большую опасность, что усвоив революционные способы борьбы, они начинают применять их для укрепления и восстановления старого порядка. Они осмеливаются идти назад так далеко, куда реакция никогда бы не отважилась пойти без их поддержки. Эти люди обрушиваются, главным образом, на тех, кто хочет в корне разрушить учреждения прошлого и идти дальше, вперед. Из рядов этих людей выходят Робеспьеры и Сен-Жюсты, которые гильотинировали «бешеных» под предлогом «спасения революции», а, в действительности, для того, чтобы наложить на нее узду.

В разгар революционной борьбы трудно отличить друзей от врагов. К этому нужно еще прибавить, что историки прошлых революций много содействовали тому, чтобы посеять хаос в умах по этому поводу.

Возьмем, например, великую французскую революцию. Для одних историков идеалом является Мирабо, который удовлетворился бы местом конституционного министра при Людовике XVI. Для дру-

гих—идеал Дантон, смелый патриот против немцев, но совершенно умеренный в экономических вопросах, народный трибун, который для того, чтобы отразить иноземное нашествие, был бы согласен удовлетвориться конституционным королем, и мог бы примириться с гнетом крестьян буржуазными собственниками землевладельцами. Все это вполне укладывалось у Дантона с его революционными убеждениями.

Для других идеалом революционера является Робеспьер--«справедливый», «неподкупный», который гильотинировал, однако, тех революционеров, которые заговорили «об уравнении состояний» и «атеизме»; тот самый революционер, который летом 1793 г., в тот момент, когда парижский народ страдал от голода, требовал от якобинцев, чтобы они поставили на обсуждение Конвента вопрос о преимуществах английской конституции.

Для многих идеал революционера—это Марат, требовавший голов ста тысяч аристократов и в то же время не осмелившийся встать на защиту того, что страстно волновало две трети всего Парижа, а, именно, дать ответ на вопрос—кому будет принадлежать земля, обработанная крестьянином.

Наконец, для некоторых идеалом является Фукье-Тенвилль, прокурор республики, требовавший беспощадной казни герцогинь, а за неимением их их служанок (так как сами герцогини бежали в Кобленц), в то время как буржуазные банды грабили Францию.

морили голодом рабочих и накапливали большие богатства, обнаружившиеся при Директории.

Большинство современных революционеров знают, к несчастью, только театральную и эффектную сторону прошлых революций: они едва с трудом представляют себе ту огромную работу, совершенную во Франции в период 1789—1793 гг. миллионами неизвестных революционеров, а именно благодаря этой работе за период революции во Франции создалась новая нация, совершенно иная, чем та, какая была пять лет перед этим.

———

В настоящем очерке, мне хотелось бы разобрать понятия революционности, чтобы тем самым помочь современным революционерам разобраться в том хаосе, который царит в области революционных понятий. Мы хотим указать на необходимость проводить резкое отличие между истинными революционерами и теми, кто называет себя нашими союзниками, «попутчиками», но кто в скором времени станет нашим врагом.

Мы попытаемся уяснить революционерам ту громадную задачу, которую им предстоит совершить, предупредить их об ожидающих их разочарованиях, если они представляют себе грядущую революцию по образцу того, что нам рассказывают историки о революциях прошедших. Наконец, мы хотим показать сколько энергии, смелости мысли и упорного труда

потребует революция от тех, кто захочет посвятить ей свои силы, отдать свою жизнь.

II.

Смелости мысли и инициативы действия, чтобы увлечь за собою народные массы, для осуществления того, о чем лишь осмеливались мечтать наиболее радикальные умы,—вот чего не доставало революционерам всех предшествующих революций. То же самое может повториться и в грядущей революции.

Кто, изучая историю прошлых революций, не спрашивал с болью сердца: зачем столько самоотверженного самоотречения, столько пролитой крови, столько семейств в трауре, столько потрясений ради таких ничтожных результатов. Этот вопрос мы постоянно встречаем и в литературе, и в частных беседах, и в революционных кружках.

Такой вопрос возникает отчасти потому, что, с одной стороны, мы не отдаем себе ясного отчета о тех огромных потрясениях, какие всякая революция встречает в лице бессознательных или сознательных защитников старого порядка. Обыкновенно, большинство из нас слишком умаляет их силу, их стремление к прошлому, их желание спасти свои привилегии, одним словом, всю их контр-революционную работу. Мы забываем также, что революции всегда делаются меньшинством.

Очень многие также забывают, что революционерам, обнаружившим огромное мужество и смелость

в их поступках, не хватало смелости в мыслях, они были уверены в своих целях и в своем идеале будущего строя. Они мечтали об этом будущем, но старались облечь его в формы прошлого, против которого они боролись. Прошлое крепко держало их в своих цепях и сковывало их порыв к новому будущему.

Они не осмеливались нанести решительного удара основным учреждениям старого строя, которые составляли его силу: они оставляли в покое его религию, его богатства, централизацию, армию, полицию и тюрьмы. Они не шли далеко по пути разрушения, чтобы тем самым широко раскрыть двери перед новой жизнью. И самые их понятия об этой новой жизни были очень смутны, благодаря чему и были скромны; эти революционеры даже в своих мечтах не смели коснуться тех фетишей, которым они поклонялись в своем рабском прошлом.

Но разве может героизм сердца, подчиненный рабскому уму, привести к великим результатам?

Действительно, когда мы более детально познакомимся с событиями Великой Французской Революции, мы не можем не поразиться необычайной смелостью действий и поступков наших предков и вместе с тем робостью и умеренностью их мысли. Крайние революционные приемы борьбы и робкие, почти консервативные, идеи. Мы видим чудеса храбрости, энергии, высшее презрение к жизни, и на-ряду с этим мы наблюдаем невероятную умерен-

ность по отношению к будущему. Во время революции проходили месяцы и годы, прежде чем народ осмеливался коснуться хотя бы одного из тех призраков, которые он когда-то окружал своим поклонением, и начать разрушение хотя бы одного из учреждений прошлого. Характерная черта Революции—это образ солдата, который доказал свое мужество и свою храбрость при нападении на неприятельскую батарею, но который, взявши эту батарею, не осмеливается взглянуть дальше и не задается выяснением общего взгляда на войну, на ее причины и на ее цели.

Безоружный народ идет на Бастилию, чтобы взять приступом ее прочные стены и пушки. Парижские женщины бегут в Версаль и приводят оттуда пленного короля. Всюду во Франции, в каждом маленьком городке, небольшая горсть людей, вооружившись пиками и дубинами, захватывает ратуши, не заботясь нисколько о том, что будет завтра, о том, что может быть, их завтра повесят новые городские власти, «действующие во имя законности».

Безоружный народ наводняет Тюильри и, под угрозой своих пик, заставляет короля надеть на голову красную фригийскую шапку вместо короны. Два месяца спустя народ, не доверяя национальной буржуазной гвардии, берет приступом Тюильри.

Республика, почти безоружная, подрываемая внутри страны роялистами, бесстрашно бросает вызов всем

королям европейских государств. В это время Дантон рекомендует только смелость, как последнее средство спасти революцию. Революционеров ничто не останавливает в их борьбе: их не устрашают даже эшафоты Конвента, массовое уничтожение революционеров в Вандее и позорные колесницы с телами казненных. И между тем, в продолжение всей этой грандиозной драмы, мы видим необычайную робость в области идей, отсутствие смелости в построениях будущего. Посредственность мысли убивает и благородный порыв и великие страсти и огромное самоотвержение.

В то самое время, когда рушилась монархия при одном только приближении «десятого августа», Дантон, Робеспьер и даже монтаньяры боялись республики, больше чем короля. Нужно было иноземное нашествие, призванное королем и руководимое из Тюильрийского дворца, чтобы они осмелились сознать, что Франция может обойтись без коронованного фетиша.

В то время, как духовенство покрывает всю Францию сетью своих контр-революционных заговоров против нового порядка, революционеры продолжают относиться к церкви с необычайным уважением; они берут церковь под покровительство Революции и вскоре они начинают гильотинировать «анархистов», которые одни только осмеливаются напасть на католический культ.

В вопросах экономических, умеренность революционеров еще более велика и отвратительна. Революция, самим фактом своего существования, уничтожила старый феодальный порядок; помещики, выгнанные крестьянами из своих поместий, бежали за границу, феодальные пошлины больше не уплачиваются. Но, тем не менее революционные вожди вплоть до Конвента стремятся сохранить последние остатки феодального строя для того, чтобы завещать их будущему веку. И когда блестящие жирондисты или «неподкупный» Робеспьер слышат слова: «уравнение состояний», они содрогаются при одной мысли, что частная собственность перестает уважаться народом, ибо эти революционеры хорошо усвоили из прошлого, что частная собственность это основа государства.

По всем экономическим вопросам революционные вожди отстают от народных масс и народ, в своем стремлении к освобождению, далеко опережает их. К сожалению, народ, вступив в революцию, не имел ясного и определенного вгляда на будущее. Среди народа господствует разнообразие мнений относительно будущего и таже неопределенность и колебания отражаются на всей революции. Мясник Лежандр, который увлек народ в Тюильири, не осмеливался и думать о том, чтобы лишать короля трона. Точно так же и народ, удерживая короля в плену под охраной пик, не осмеливался разом покончить с монархическим режимом.

Позднее, когда раскрывается коммунистический заговор Бабефа, монтаньяры были очень удивлены; они, конечно, знали о смутных стремлениях народа к социалистическому равенству, но не предполагали, чтобы эти стремления вылились в целую программу партии. Монтаньяры, считая себя крайней революционной партией, тем не менее никогда не осмеливались идти так далеко.

То же самое повторилось и в революцию 1848 г.

После полутора десятка лет социалистической пропаганды, после Фурье и Кабэ, после всего того, что говорилось на собраниях и писалось в сотнях брошюр в защиту коммунизма, «права на жизнь» и «права на счастье», — после всего этого большинство революционеров «демократов» февральской революции готовы были расстреливать каждого, кто заговорит о коммунизме.

Все, о чем осмеливались мечтать даже наиболее передовые из революционеров 48 года, это была демократическая республика и рабочие ассоциации, субсидируемые государством. Революционеры 48 года предоставили Бонапарту эксплоатировать смутные народные стремления к коммунизму и дали этому авантюристу возможность, благодаря этому, овладеть императорским троном.

Во время Парижской Коммуны 1871 г. подобная история повторилась еще раз. Грозные революцио-

неры, не склонявшие свои головы перед мощными силами реакции, с которой они боролись, не имели революционной идеи. Они знали лишь революционные способы борьбы, способы, состоящие, по их мнению, в том, чтобы обратить против старого правительства то оружие, которое это правительство употребляло до этого времени против своих врагов.

Революционеры 1871 года мечтают о коммуне, представляющей государство в миниатюре. И в то время, как идея экономической революции смутно начинает пробиваться в умах рабочих, эти революционеры думают только о том, чтобы укрепить политическую диктатуру Коммуны, говоря, что экономическими реформами можно будет заняться потом. Им и в голову не приходит мысль, что единственное средство об'единить рабочие массы под знаменем Коммуны—это провозгласить экономическую революцию и начать ее осуществлять; еще менее они думают о том, что если Коммуна погибнет, то она должна, по крайней мере, завещать тем, которые придут ей на смену и будут продолжать ее дело, идею о народной революции, революции «бедных» против «богатых», трудящихся против праздных.

Но никакая новая идея, ни одна из тех мыслей, которые преобразуют мир, не возникала в уме революционеров 1871 г., столь революционных в своих поступках, и столь умеренных в своих желаниях; это происходило от того, что большинство из них

были всецело продукт прошлого, которому они объявляли войну.

—

Находясь на пороге новой революции подготовлены ли мы лучше, чем наши предшественники для совершения социальной революции? Обладаем ли мы смелостью мысли и необходимой инициативой, которые делают возможными революции?

Перед лицом отживающего прошлого, которое нас возмущает, видя все угнетение, видя все зло авторитарной организации общества, все лицемерие и ложь современного строя, можем ли мы сказать, что мы являемся революционерами не только на словах, но по своему духу, и что мы сможем отречься от отживающего строя не только в общем, но и во всех его повседневных проявлениях. В силах ли мы занести топор не только над учреждениями современного общества, но и над самыми идеями, которые находятся в основе современных учреждений. Одним словом, являемся ли мы настолько революционерами и по своей психике, насколько мы революционеры и наших действиях. Сможем ли мы посвятить себя целиком на служение революционной идее.

III.

Очень многое должно было бы содействовать развитию смелости мысли в людях нашего времени, той смелости мысли, которой не хватало нашим предшественникам.

Грандиозный расцвет естественных наук, свидетелем которого было наше поколение и в котором многие из нас принимали участие, чрезвычайно способствует развитию смелости в мышлении. Целые науки, родившиеся только вчера, открыли перед человечеством такие горизонты, о которых не смели даже мечтать наши отцы.

Единство физических сил, об'ясняющее взаимную связь всех явлений в природе, включая и психическую жизнь животных и человека, позволяет нам теперь делать смелые выводы об единстве всех явлений природы.

Критика религий происходит с необыкновенной глубиной и такой смелостью, какая до нашего времени не была известна. Все здание нелепых предрассудков и суеверий, тщательно охраняемых и окруженных почитанием — начиная с верования о божественном происхождении человеческих учреждений и кончая верой в так-называемые законы «божественного Провидения», — все это рушится под ударами научной критики. И эта критика проникла уже в глубину народных масс.

Человек смог познать свое место в природе. Он понял, что раз он сам создал свои учреждения, то он сам может их и переделать.

С другой стороны, идея о постоянстве, об устойчивости, которую человек относил ко всему, что он видел в природе, была также поколеблена и разру-

щена. Наука доказала, что все в природе изменяется и эволюционирует: солнечная система, планеты, климат, виды растений и животных, человеческий род. После этого сам собою напрашивается вопрос: почему же человеческие учреждения должны существовать вечно?

Нет ничего вечного, все изменяется: скала, которая кажется нам неподвижной, материки, называемые «твердой сушей», точно так же, как и их обитатели, народные нравы, обычаи и верования, — все это меняется. Все, что мы видим вокруг себя, представляет преходящее явление, которое должно видоизмениться в будущем, ибо неподвижность равносильна смерти. Вот те выводы, к каким пришла современная наука.

Но эти выводы были сделаны лишь недавно и, к сожалению, они еще не твердо усвоены всеми. Араго является почти нашим современником, а между тем, когда он говорил однажды о том, что все наши материки возникли некогда из морских волн и должны в будущем также исчезнуть, ему один из слушателей возразил: разве ваши материки растут как грибы. Этот пример лишний раз доказывает насколько идея о неподвижности и косности в природе владеет умами. В настоящее время идея эволюции приобретает, однако, все большее и большее число своих сторонников.

Теперь все больше и больше люди начинают также понимать, хотя, правда, очень смутно, что революции являются лишь существенной частью эволюции: ника-

кая эволюция в природе не происходит без катастроф, без потрясений. За периодами медленного изменения следуют неизбежно периоды внезапных ускоренных перемен.

Революции также необходимы в процессе эволюции, как и медленные изменения, которые ее подготовляют.

Жизнь есть непрерывное развитие: растение, животное, человек, общество—если задерживаются в их развитии, слабеют и погибают. Вот главная идея современной научной философии, и мы сейчас же постараемся показать, как эта идея должна содействовать развитию смелости мышления и в области социальной жизни.

На-ряду с грандиозным развитием наук в наше время происходит и быстрое развитие техники. «Дерзайте!»—вот лозунг современной техники и механики. Имейте смелость задумать арку в шестьсот метров шириной и перебросить эту арку через морской залив на высоте ста метров над водой и вы добьетесь того, что осуществили английские инженеры на Фортском заливе в Шотландии. Имейте смелость построить железную башню в триста метров высоты и вы ее будете иметь. Имейте смелость прорыть Панамский или Суэцкий перешеек и вы соедините океаны, приблизив друг к другу отдаленные земли. Имейте смелость пробить каменную грудь Альпийских гор и вы соедините долины центральной Европы с побережьем Средиземного моря.

Имейте мужество пуститься в океан на небольшом парусном судне в двести тонн и вы через 15 дней из Европы достигнете берегов Америки при помощи ветра. Осмельтесь применить на вашем судне паровую машину и вы переплывете Атлантический океан в пять или шесть дней. Имейте смелость захотеть, чтобы ваш голос был услышан из Парижа и Лондона, и вы достигнете того, что слабые вибрации человеческого голоса перелетят через волны Ламанша. Имейте смелость проложить от берегов Ирландии к Соединенным Штатам Америки подводный кабель и вы, сидя в Европе, перешлете свои мысли через Атлантический океан. Наконец, осмельтесь поставить себе целью завоевание воздуха с помощью машины «более тяжелой» чем сам воздух; упорствуйте в этом, не огорчайтесь неудачами и вы победите воздушную стихию.

Вся история развития современной техники есть ничто иное, как воплощение слов Дантона: «Смелость, смелость и еще раз смелость».

И эта смелость мысли начинает проникать в наше время и в литературу, в искусство, в театр и в музыку. Да, смейте говорить, писать, рисовать так, как подсказывает ваше сердце, и если у вас есть ум, знание и талант, вы заставите слушать себя, какова бы ни была новая форма, в которую вы облекаете свою мысль.

Весь прогресс науки и техники содействует развитию смелости и в области социальной революции. Все это порождает смелость революционной мысли.

К сожалению, этой смелости мысли мы не встречаем в области политики и социальной экономии. Здесь попрежнему мы видим умеренность.

Правда, в продолжение всего нашего столетия политическая революция могла зарегистрировать лишь свои поражения. Даже самые победы революционеров-политиков имели характер поражений.

На самом деле, когда мы вспомним о героизме итальянских, венгерских, польских и ирландских патриотов эпохи 40-х годов и констатируем поражения, к каким привело революционное движение в этих странах—мы не видим в этих примерах ничего ободряющего. Когда мы посмотрим, что дала в результате борьба за независимость в Италии и Венгрии, то невольно краснеешь за итальянских и венгерских патриотов, за их уступки империализму, за постылые спекуляции, за возврат к прошлому.

Жертвы июньских дней 48 года и кровавой недели 71 года, милитаризм в Германии, реакция во Франции в период второй империи, неудачные революционные попытки русской молодежи и, наконец, поражение революции в России—все это не может пробуждать смелость у тех, кто не хочет заглянуть глубже в современную социальную жизнь европейских народов.

Когда мы подумаем о тех надеждах, какие зарождались у социалистов в эпоху Первого Интернационала и когда, с другой стороны, сравним рабочее движение наших дней, то мы поймем то отчаяние, которое охватывает передовых рабочих-революционеров, мы поймем, почему рабочие теряют веру в будущее [1]).

И все-таки нет ничего более ошибочного, чем этот пессимистический взгляд, столь распространенный в наше время и поддерживаемый многими социалистами.

На самом деле, если мы будем изучать более детально причины неудач и поражений революционных движений девятнадцатого века, то мы заметим, что поражения и неудачи были вызваны тем, что в вождях этих революционных движений не было достаточной смелости, чтобы итти вперед и что революционеры смотрели всегда не вперед, а назад. В то время как революционный дух и революционные стремления охватывали народные массы и поднимали их, революционные вожди стремились найти свой идеал будущего строя в прошлом.

Вместо того, чтобы думать о *новой* революции, революционеры воодушевлялись примерами прошлого.

В 1793 г. французские революционеры стремились создать во Франции республику по образцу древне-

[1]) Это было писано в 1891 г. до расцвета синдикалистского движения во Франции

римской или греческой Спарты. В 1848 году революционеры мечтали повторить 1792 год. Революционеры 1871 г. тайно преклонялись перед якобинцами 1793 г. В 1881 г. Исполнительный Комитет партии Народной Воли ставил своим образцом Бланки и Барбеса. В 1905 г. русские революционеры мечтали повторить 18-е марта 48-го года в Берлине, события которого в освещении печати представлялись как действительная революция.

Даже в построении своих утопий о будущем обществе революционеры не могли отрешиться от взглядов старого мира. Древний Рим лежит всей свой тяжестью на нашем времени; легенды Якобинского клуба идут вслед за ним и дух Рима и якобинцев еще владеет большинством современных революционеров.

В то время, как инженер, ученый и художник стараются порвать свои связи с прошлым, стремятся освободиться от традиции, политик и экономист все еще ищут вдохновения в прошлом.

Но далеко ли ушла бы техника, если бы инженеры вздумали руководиться техникой древних. В этом случае инженеры не ушли бы дальше римских акведуков и мостов. Прогресс техники и был возможен только тогда, когда инженеры попробовали оперировать с новыми материалами и решились прибегнуть к новым методам. Без этого революционирования техники инженеры, строители Фортского моста, могли бы соорудить

лишь какую-нибудь массивную циклопическую постройку и возвести арку, не превосходящую по своим размерам римские арки.

Без смелости мысли инженеры не создали бы новой эры в архитектуре и в строительном деле вообще.

Что было бы с теорией эволюции и с наукой о развитии растений и животных, если бы Уоллэс и Дарвин продолжали бы черпать идеи и факты из старых книг.

Уоллэс и Дарвин—эти пионеры эволюции — поняли, что новая наука требовала и новых наблюдений и поэтому оба они отправились изучать природу и раскрывать ее тайны в тропические области, где природа особенно щедро рассыпает свои дары.

Но таких примеров мы не видим ни в области политики, ни в области экономии. Боязнь новизны и является одной из причин неудач революционных попыток нашего века. Нельзя преобразовать общество и нельзя создать новый социальный строй, обращая свои взоры назад. К созданию нового строя можно придти только изучая, как это советовал еще Прудон, *тенденции современного общества;* потому что только хорошо поняв тенденции социального развития, можно более или менее правильно строить планы будущего социального строя.

IV.

Когда мы ближе и внимательнее присмотримся к современным нам революционерам-марксистам, пос-

сибилистам, бланкистам, и к их разновидностям в других странах (потому что хотя в других странах революционные партии и носят иные названия, чем во Франции, но, тем не менее, всюду мы встречаем почти те же характерные различия среди этих партий, как и во Франции), когда мы будем изучать их идеи, цели и средства борьбы, то мы должны будем признать, что взор всех этих революционеров обращен назад, в прошлое; каждый из этих революционеров готов повторить Луи Блана, Бланки, Робеспьера, Марата и т. д.

Каждый революционер мечтает о диктатуре, будет ли это «диктатура пролетариата», т.-е. его вождей, как говорил Маркс, или диктатура революционного штаба, как утверждают бланкисты; в общем это одно и то же.

Все мечтают о революции как о возможности легального уничтожения своих врагов при помощи революционных трибуналов, общественного прокурора, гильотины и ее слуг—палача и тюремщика.

Все мечтают о завоевании власти, о создании всесильного, всемогущего и всеведущего государства, обращающегося с народом как с подданным и подвластным, управляя им при помощи тысяч и миллионов разного рода чиновников, состоящих на содержании государства; Людовик XVI и Робеспьер, Наполеон и Гамбетта мечтали об одном и том же,— всемогущем государстве.

Все мечтают о представительном правлении, как «об увенчании здания» социального строя, который должен родиться из революции после периода диктатуры.

Все революционеры проповедуют абсолютное подчинение закону, изданному диктаторской властью.

Все революционеры мечтают о комитете «Общественного Спасения», целью которого является устранение всякого, кто осмелится думать не так, как думают лица, стоящие во главе власти. Революционер, осмелившийся думать и действовать вопреки революционной власти, должен погибнуть. Если Марата терпели и допускали его итти «дальше Марата», то коммунистов и тех, кого называли «бешеными», революционное правительство послало на эшафот.

Все революционеры стремятся в той или иной форме к сохранению собственности, если не в виде частной, то в виде государственной, и государству предоставляется право «пользоваться и злоупотреблять» всем, что принадлежит ему. Все считают необходимым, чтобы труд был вознаграждаем по заслугам, чтобы благотворительность была в руках государства.

Наконец, все мечтают о том, чтобы ограничить проявление инициативы личности и самого народа. Думать—говорят многие революционеры,—это искусство и наука, созданные не для простого народа. И если позднее, на другой день революции, народным массам и будет дана возможность высказать свою

волю, то это дается лишь для того, чтобы народ избрал своих вождей, которые и будут думать за народ и составлять законы от его имени. Народу нечего самому пытаться думать и пробовать разрешать вопросы, которые еще не были рассмотрены жрецами мысли. Карл Маркс и Бланки достаточно размышляли за всех для нашего века, как Руссо размышлял за людей восемнадцатого столетия, и то, что не предвидели эти вожди революционных партий, не имеет никакого значения.

Вот тайная мечта девяносто девяти процентов из тех, кто называет себя революционерами. Якобинская традиция давит нас так же, как монархическая традиция подавляла и держала в плену французских якобинцев 1793 года.

Если мы заглянем на рабочие собрания и побеседуем с рабочими, получившими так-называемое «революционное воспитание», но не затронутых анархической пропагандой, то в большинстве случаев на вопрос «что вы будете делать во время революции», мы услышим от этих рабочих ответ, что они постараются захватить дома богачей, займутся распределением припасов, будут вывозить на тачке директоров, банкиров и полицейских.

Лишь очень немногие рабочие ответят на поставленный вами вопрос, что они попытаются устроить свою жизнь на новых началах и установить такой порядок, когда трудящийся не будет вынужден про-

давать свой труд эксплоататору для того, чтобы полученные за этот труд деньги уплачивать другим эксплоататорам—домовладельцу, торговцу, банкиру, земельному собственнику и т. д.

Сколько так-называемых революционеров осмелятся высказать такие идеи, не спросив об этом предварительно своих вождей.

И лишь по одному вопросу мы получим дружный и почти одинаковый ответ—это по вопросу об уничтожении «врагов революции». И тот, кто будет говорить о необходимости возможно большего количества истребления врагов революции, тот будет признан наиболее крайним и истинным революционером, несмотря на то, что он, быть может, будет в вопросах социального строительства очень умеренным, хотя эти вопросы и составляют сущность самой революции.

Мы уже говорили в другом месте, что когда народ обрушивается в своем мщении на угнетателей, никто не имеет права читать народу нотации и наставления. Только тот, кто сам выстрадал столько же, сколько выстрадал народ, имеет право голоса.

Только тот, кто видел своих детей плачущими от голода и умирающими от истощения, только тот, кто вынужден был ночевать под заборами и пережил все ужасы и все унижения нищеты, кто тщетно искал работы, не имея ни крова, ни хлеба, ни оде-

жды, в то время как «господа» жили сытой и праздной жизнью, только тот имеет право судить народную месть.

Говорят, что месть народа ужасна. Но разве не учили народ в течение многих веков только мести и не воспитывали в народе чувства ненависти, правда, не к богатым своей нации но к другим народам, говоря, что они враги. Разве правители всех времен не сделали из мести и мщения священного права, благословляемого религией и предписываемого законом. Разве большинство даже так-называемых культурных людей не видит в мести законного и морального средства для восстановления попранной справедливости. Разве многие из нас восстают против узаконенной мести, выражающейся в виде убийства людей по закону, и разве все мы не участвуем в содержании палачей и тюремщиков.

Дни сентябрьских убийств 1792 г. были результатом всего многовекового воспитания народных масс, которое давалось народу привилегированными классами; эти дни были выражением принципа легального возмездия, которое практиковалось властвующими классами по отношению к народу в течение долгих веков; эти дни явились результатом того презрения к человеческой жизни, к которому приучили народ представители богатства и власти; и народ, когда чаша его терпения переполнилась, воспользовался теми средствами, какими укрощали его.

Ужасные сентябрьские дни явились результатом всей прошлой истории французского народа, всего того угнетения и нищеты, которые он перенес, всей системы христианского и римского воспитания, которому подвергался французский народ в течение долгих столетий. И только восставший против всего этого прошлого, ненавидящий все фетиши и пережитки властнической психологии имеет право критиковать деятелей сентябрьских дней. Народный террор, это—террор отчаяния и ответ на все угнетение и презрение правящих классов.

Но совсем другой характер носит террор, который возводится в «государственный принцип» и диктуется не чувством народной мести и отчаяния, а холодным разсудком во имя революционной идеи. Вот этого рода террор и дорог для якобинцев всех революций. Якобинцы отлично знают, что чувство народной мести быстро потухает с первыми же жертвами и уступает свое место чувству жалости. Но якобинцы не в силах растаться с террором, и они, чтобы затушевать у себя отсутствие истинно-революционной мысли, признают систему легального террора, как воплощение самой революции.

Якобинцы хорошо знают, что невозможно убить даже половину тех, кто противостоит революции: они знают, что буржуа—это большинство нации, а большинство нации нельзя уничтожить при всем желании. На самом деле, сколько насчитывается во Франции пролетариев и буржуа.

Если причислить к рабочему классу всех чиновников, прислугу, банковских служащих, железнодорожников, всю армию торговых служащих, иногда более буржуазных, чем сами буржуа, то окажется, что во Франции таких лиц наберется едва лишь семь миллионов из тридцати девяти миллионов жителей. Если мы будем считать эту армию пролетариев с их семьями, то все-таки это армия составит не более двадцати миллионов человек, таким образом, остается еще девятнадцать миллионов крестьян, собственников, фермеров и буржуа с их семьями. Если мы даже отнимем из этого числа пять миллионов крестьян бедняков и батраков, то все-таки останется еще двенадцать миллионов человек буржуа, не считая прислуги, живущей также не производительным трудом.

Наши современные якобинцы говорят нам о необходимости уничтожения буржуа: «достаточно, говорят они, несколько тысяч голов, чтобы обезвредить всю буржуазию. Террор заставит буржуазию покориться».

Но такое рассуждение доказывает лишь одно, — это то, что благодаря басням буржуазных якобинцев о великой Французской Революции, современные революционеры ничему не научились из уроков прошлого.

Прежде всего, мы не должны забывать того факта, что в эпоху французской революции террор был

введен только тогда, когда якобинская революция уже умирала, не имея смелости итти дальше, туда, куда шли стремления народа. Кроме того, мы не должны также забывать, что именно в эпоху террора стали организовываться всякого рода спекулянтами банды для поддержки контр-революции, которая уже охватила в это время три четверти всей Франции.

Таким образом, террор никого не устрашал и оказывался бессилен. Эдгар Кинэ дал такое об'яснение этому факту: он говорит, что демократия, т.-е. правительство народа, каково бы оно ни было, не способно управлять при помощи террора. Для того, чтобы практиковать террор с теми же результатами, как это делала католическая церковь или короли, демократия должна была учиться жестокости у Людовиков XI. Иванов Грозных и русских царей; демократия должна проникаться холодной злобой к своим врагам, и не давать ни на минуту ослабнуть этой злобе, но демократия на это неспособна. Народ по своей природе не способен на холодную злобу: он остается добродушным даже и тогда, когда он танцует карманьолу вокруг отрубленных голов, насаженных на пики.

Короли и цари поступают не так. Они наносят удар и заставляют дрожать других из боязни подвергнуться такой же участи. Цари и короли не видят своих жертв; они душат их в тюрьмах рукой палача. При своем восшествии на престол Александр III избрал пять человек, из них одну женщину, которых он приказал повесить за убийство своего отца. Он

еще сожалел, что повесил их в общественном месте, что позволило художнику Верещагину увековечить эту казнь на полотне. Остальные революционеры, члены партии Народной воли были замурованы по приказу Александра III в Шлиссельбурге и их так крепко там держали, что в течение целых десяти лет о них не было слышно ни малейшего слова. Царь хорошо знал, что ужас неизвестного действует сильнее на умы, чем страшная казнь при солнечном свете на общественной площади [1]).

Таким образом, мы видим, что был прав тысячу раз Эдгар Кинэ, утверждавший, что народ никогда не будет способен употреблять террор так, как это делали короли и цари. Террор противен народу. В то время, как террор царей устрашает, в народе террор вызывает жалость к жертвам и скоро вызывает отвращение. Прокурор Коммуны, позорная колесница, гильотина внушают народу отвращение. Народ скоро замечает, что террор подготовляет то, что он должен подготовить — диктатуру, и народ спешит разбить гильотину.

Народ не может править при помощи террора. Террор, изобретенный для того, чтобы ковать цепи,

---

[1]) Эти строки, написанные в 1891 г., остаются в своей силе и теперь. Хотя с того времени Россия узнала террор Николая II. Жертвы этого террора исчисляются следующими цифрами. 20.000 человек убитых палачами и 80.000 или 100.000 человек сосланных в Сибирь и заключенных в тюрьмы. (См. мою брошюру *Террор в России*).

особенно содействует этому тогда, когда он прикрывается законностью, в этом виде он особенно страшен, так как этот террор кует цепи для народа.

Для того, чтобы победить мало одной гильотины, недостаточно одного только террора. Необходима революционная и д е я, истинно революционное миросозерцание, способное выбить оружие из рук противника.

Печально было бы будущее революции, если бы она не имела других средств, чтобы обеспечить свое торжество, кроме террора. К счастью, в руках революции имеются другие более могущественные средства.

Нарождается новое поколение революционеров, которые энергично ищут новых средств, могущих обеспечить победу революции. Эти революционеры знают, что для торжества революции необходимо, прежде всего, вырвать из рук представителей и защитников старого порядка орудие их эксплоатации—собственность. Они знают, что необходимо разрушить н а м е с т а х, в каждом городе в каждой деревне главное орудие гнета—государство с его системой налогов, монополиями и т. д.

Они знают, в особенности, что необходимо с о з д а в а т ь н о в ы е ф о р м ы с о ц и а л ь н о й ж и з н и в освобожденных коммунах, социализируя дома, орудия производства, средства сообщения и обмена, одним словом все, что необходимо для жизни.

АНАРХИЧЕСКАЯ РАБОТА ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ [1]).

Избиение буржуа ради триумфа революции — это безумие. Одно их количество уже не допускает этого; ибо кроме тех миллионов буржуа, которые по гипотезе современных Фукьс-Тенвиллей должны исчезнуть, есть еще миллионы работников полу-буржуа, которые должны за ними следовать. В самом деле, эти в свою очередь не желают ничего иного, как превратиться в буржуа, и они старались бы сделаться ими, если бы существование буржуазии не было поражено в своих причинах, а только в своих следствиях. Что касается организованного и законного

---

[1]) *Предисловие к французскому изданию.* Настоящие страницы являются перепечаткой статей, помещенных в нашей газете «Новые Времена» («Temps Nouveaux»). Они составляют часть целого ряда статей, появившихся под общим названием: «Задачи революционной мысли в революции», и первая половина которых была перепечатана в серии брошюр, изданных нашей газетой, под названием: «Задачи революционной мысли в Революции» и «Основное начало анархизма».

Мы живем в ожидании важных событий. Вот почему все работающие и все те, кого беспокоит успех

террора, то он в действительности служит лишь для того, чтобы ковать цепи для народа. Он губит индивидуальную инициативу, которая и есть душа революции; он увековечивает идею правительства сильного и властного; он подготовляет диктатуру того, кто наложит свою руку на революционный трибунал и сумеет им руководить с хитростью и осторожностью, в интересах своей партии.

Будучи оружием правителей, террор служит прежде всего главам правящего класса; он подготовляет почву для того, чтобы наименее добросовестный из них добился власти.

Террор Робеспьера должен был привести к террору Талльена, а этот—к диктатуре Бонапарта. Робеспьер привел к Наполеону.

будущей революции, хорошо бы сделали, если бы вдумались в мысли, изложенные на настоящих страницах, и, согласившись с ними, постарались бы применить их к жизни.

Петр Кропоткин.

Май 1914 г.

Предисловие к русскому языку. Пересматривая эту брошюру для теперешнего издания, я мог только все время чувствовать на основании уроков русской революции, насколько необходим был призыв именно к построительной работе самих масс для успеха переворота. Как безнадежна революция, если она не проникнется этим основным началом.

П. К.

Август 1919 г.

Чтобы победить буржуазию, нужно нечто совсем противоположное тому, что составляет ее действительную силу, другие элементы, чем те, которыми она так хорошо научилась управлять. Поэтому нужно прежде всего узнать, что составляет ее силу, и этой силе — противопоставить другую, высшую силу.

Кто же, в самом деле, позволил буржуа провалить все революции, начиная с пятнадцатого века? Пользоваться ими для порабощения и увеличения своего господства, на основаниях более солидных, нежели уважение религиозных суеверий или право рождения аристократии?

Это — государство. Это—беспрерывное увеличение и расширение обязанностей государства, основанное на более крепком фундаменте, нежели религия и право наследия — на законе. И поскольку государство будет существовать, поскольку закон останется священным в глазах народов, поскольку революции будущего будут работать над сохранением и расширением прав государства и закона—буржуа будут уверены в сохранении своей власти и в господстве над массами. Законоведы, составляющие всемогущее государство, — вот источник происхождения буржуазии, и это же всемогущее государство создает действительную силу буржуазии. При помощи закона и государства буржуа захватили капитал и создали свою власть. При помощи закона и государства они ими

управляют. При помощи закона и государства они обещают излечить те болезни, которые подтачивают общество.

В самом деле, пока все дела страны будут переданы нескольким и эти дела будут так безвыходно сложны, как сегодня,—буржуа смогут спать спокойно. Это именно они, помня римские предания о всемогущем государстве, создали, выработали и образовали этот механизм; это они поддерживали его на протяжении всей современной истории. Они изучают его в своих университетах; они руководят им в своих трибуналах, они показывают его в школах; они распространяют его и твердят о нем в своей прессе.

Их ум так хорошо приноровлен к традициям государства, что они не отделяют себя от него даже в своих грезах о будущем. Их утопии носят его отпечаток. Они ничего не могут придумать вне принципов римского государства относительно структуры общества. Если они встречают учреждения, развившиеся вне этих понятий, будь то в жизни крестьян, или в жизни другого класса, они их уничтожают, вместо того, чтобы узнать их смысл. Таким же образом якобинцы продолжали дело разрушения народных учреждений во Франции, начатое Тюрго. Он уничтожил первые деревенские сходки, которые существовали еще в его время, находя их слишком шумными и плохо устроенными Якобинцы продолжали его работу: они уничтожили родовые общины, которые спаслись

от секиры римского права; они нанесли смертельный удар общинному праву на землю; они издали драконовские законы против общинных прав и уничтожали вандейцев тысячами, вместо того, чтобы постараться понять их народные учреждения. И современные якобинцы, встречая коммуну и союз племен среди кабилов, предпочитают уничтожать эти учреждения своими трибуналами, нежели изменить своей идее римской собственности и иерархии. Английские буржуа сделали то же самое в Индии. Таким образом, в тот день, когда Великая Революция прошлого века приняла все римские идеи о всемогущем государстве, которым Руссо придал свой сантиментализм, выставив их с печатью римско-католического Равенства и Братства, в день, когда революция приняла за основу социального строительства собственность и избирательное правительство,—работа по организации и управлению Францией согласно этих принципов выпала на долю буржуа, внуков «законоведов» XVII века.

Народу больше нечего было делать, ибо его творческая сила была направлена в совершенно иную сторону.

II.

Если по несчастью во время будущей революции народ еще раз не поймет, что его историческая миссия — уничтожить государство, созданное кодексом Юстиниана и папскими эдиктами; если он еще раз позволит ослепить себя идеями римского права о государстве и собственности (над чем упорно работают

социалисты-государственники) — тогда ему еще раз придется предоставить заботу об устройстве этой организации тем, которые являются истинными представителями государства, т.-е. буржуа.

Если он не понимает, что истинный смысл народной революции это разрушение неизбежно иерархического государства для того, чтобы поставить на его место свободное соглашение индивидуумов и групп, т.-е. федерацию свободную и временную (каждый раз с какой-нибудь определенной целью); если он не понимает, что нужно уничтожить собственность и право приобретения, отменить господство избранных, которое заменило свободное соглашение всех; если народ отказывается от традиций свободы личности, добровольных группировок и свободных соглашений, ставших основой для правил поведения, — традиций, которые были сущностью всех предыдущих народных движений и всех учреждений народного творчества; если он отбросит эти традиции и примет традиции католического Рима, — тогда ему нечего будет делать в революции; он должен будет все предоставить буржуазии и ограничиться тем, чтобы выпросить у нее несколько уступок.

Идея государственности абсолютно чужда народу. К счастью, он ничего в ней не понимает, не знает как ею пользоваться. Он остался народом; он остался пропитанным теми понятиями, которые называются обычным правом — понятиями, основанными на идеях взаимной справедливости среди людей, на

реальных фактах, в то время как государственное право основано либо на понятиях метафизических, либо на лжи. либо на толкованиях слов, созданных в Риме или Византии в период разложения, для того, чтобы оправдать эксплоатацию и притеснение народных прав.

Народ несколько раз пробовал вступить в состав государства, завладеть им, пользоваться им. Он никогда этого не мог достичь.

И он кончал тем, что предоставлял этот механизм иерархии и законов — другим; государю после революций шестнадцатого века; буржуа в Англии после революции семнадцатого века и во Франции — восемнадцатого века.

Буржуазия, наоборот, совершенно слилась с государственным правом. Это-то и составляет ее силу. Это-то и дает ей то единство мысли, которое поражает нас каждое мгновение.

В самом деле, Ферри может презирать Клемансо; Флоке, Фресине или Ферри могут задумывать удары, которые они готовят для того, чтобы сорвать президентство у какого-нибудь Греви или Карно; папа и его духовенство могут ненавидеть трех соучастников и вырывать у них почву из-под ног; буланжист может одинаково ненавидеть и духовенство и папу, Ферри и Клемансо. Все это возможно, и все это делается. Но нечто высшее этих чувств ненависти соединяет их всех, от бульварной кокотки до приторно-сладкого Карно, от министра до последнего профес-

сора светского или духовного лицея. Это культ власти.

Они не могут понять общество без сильного и властного правительства. Жить без централизации, без иерархии, простирающей свои лучи от Парижа или от Берлина до последнего сельского стражника и заставляющего последнюю деревушку поступать согласно приказаниям столицы,—для него все равно, что исчезнуть обществу. Если уничтожить свод законов—созданный монтаньярами конвента [1]) и принцами империи,—они не увидят ничего, кроме убийств, пожаров, грабежей на улицах. В устранении собственности, охраняемой сводом законов, они видят пустынные поля и разрушенные города. В уничтожении армии, доведенной до животной слепой покорности своим начальникам, они видят страну во власти завоевателей, и без судей, окружаемых таким же уважением, как тело Христово в средине века, они предвидят войну всех против всех. Министр и стражник, папа и простой священник абсолютно сходятся на этих пунктах и это-то и составляет их общую силу.

Они великолепно знают, что воровство—постоянное явление во всех министерствах, военных и гражданских. Но «это не важно!» говорят они; это лишь

[1]) Так называлась крайняя партия в революционном Конвенте 1792 г.

случаи с отдельными лицами, и пока существуют министерства, кошелек и отчизна будут в безопасности.

Они знают, что выборы в парламент делаются при помощи денег, кружек пива и благотворительных праздников, и что в палате голоса покупаются местами, концессиями и воровством. Все равно!—закон, принятый представителями народа, будет почитаться ими как священный. Его будут обходить, его будут нарушать, если он помешает, но будут произносить пламенные речи о его божественном значении.

Президент Совета министров и глава оппозиции могут оскорблять друг друга в палате; но, закончив обмен слов, они возвращают друг другу взаимное уважение: они две главы, два необходимых лица в государстве. И если в трибуналах прокуров и адвокат перебрасываются над головою обвиняемого оскорблениями и называют друг друга в цветистых выражениях лгунами и мошенниками,—то, закончив свои речи, они пожимают друг другу руки и поздравляют один другого с блестящим заключением речи. Это не лицемерие и не умение жить. В глубине души адвокат восхищается прокурором, а прокурор восхищается адвокатом; они видят друг в друге нечто, что выше их личностей: две функции, двух представителей правосудия, правительства, государства. Все их воспитание подготовило их к тому, чтобы уметь подавлять свои человеческие чувства под формулами закона. Никогда народ не достигнет этого совершенства, и он хорошо

бы сделал, если бы никогда не захотел этого пробовать.

Общее обожание, общий культ об'единяет всех буржуа, всех эксплоататоров. Представитель власти и глава законной оппозиции, папа и атеист-буржуа одинаково поклоняются одному богу, и этот бог власти живет в самых отдаленных уголок их мозга. Потому-то они, несмотря на все свои разделения, остаются соединенными. Глава государства отделится от главы оппозиции, и прокурор отделится от адвоката в тот день, когда тот вздумает сомневаться в учреждении парламента, или когда адвокат обойдется с трибуналом по-нигилистски, т.-е. будет отрицать его право на существование. Тогда, и только тогда, они смогут разделиться. Пока же они соединены для того, чтобы посвятить свою ненависть тем, кто подрывает верховную власть государства и разрушает уважение к власти. К ним они неумолимы.

И если буржуа всей Европы посвятили столько ненависти к работникам Парижской Коммуны—это значит, что они видели в них настоящих революционеров, готовых выбросить через борт государство, собственность и представительное правительство.

Понятно, какую силу дает буржуазии этот общий культ иерархического права.

Несмотря на то, что она на три четверти сгнила, в ней все же сохранилась добрая четверть людей, крепко держащих знамя государства. Прилеж-

ные к работе, преданные делу, как вследствие своего преклонения перед законом, так и вследствие своего аппетита к власти, они работают без отдыха над укреплением и распространением этого культа. Вся необ'ятная литература, все школы без исключения, вся пресса к их услугам и особенно в юности они работают без отдыха, борясь со всеми попытками поколебать идею законной государственности. И когда наступает момент борьбы—все, как слабые, так и сильные, тесно сплачиваются вокруг этого знамени. Они знают, что будут царствовать до тех пор, пока это знамя будет развеваться.

Понятно также, каким безумием было бы привлечь революцию под это знамя и пробовать повести народ навстречу этим традициям для того, чтобы принять этот принцип господства и эксплоатации. Власть—это их знамя, и пока народ не будет иметь другого знамени, которое будет выражением его коммунистических, антизаконных и антигосударственных—коротко говоря антиримских — стремлений, он будет давать другим господствовать над собой.

Именно здесь революционер должен обладать смелостью мысли. Он должен иметь мужество для окончательного разрыва с римско-католическими традициями; он должен иметь смелость сказать народу, чтоб он сам перестроил общество на основаниях действительной справедливости, той, которую понимает обычное народное право.

——

Уничтожение государства—вот задача революционера, того, кто обладает смелостью мысли, без которой не делают революций.

В этом он имеет против себя все традиции буржуазии. Но зато он имеет за себя все развитие человечества, которое налагает на нас обязанность в этот исторический момент освободиться от той формы группировки, которая, может быть, сделалась необходимой, благодаря невежеству прошедших времен, но которая отныне стала враждебной прогрессу будущего.

В то же время уничтожение государства осталось бы пустым звуком, если бы причины, создающие нищету, попрежнему бы существовали. Как богатство могущественных, как капитал и эксплоатация, так и государство родилось от обеднения одной части общества. Всегда требовалось, чтобы одни впадали в нищету вследствие переселений, нашествий, чумы или голода, для того, чтобы другие обогащались и приобретали власть, которая отныне могла расти, делая возможность существования масс все более и более ненадежной и необеспеченной.

Политическое господство не может быть уничтожено, пока не будут уничтожены сами причины обеднения и обнищания масс.

И для этого—мы уже много раз повторяли это—мы видим лишь одну возможность.

Прежде всего нужно всем обеспечить существование и даже достаток, и сорганизоваться обще-

ствами таким образом, чтобы производить все то, что необходимо для подобного обеспечения. При возможности действительного производства это более чем возможно: это легко выполнимо.

Затем нужно принять то, что следует из всего современного экономического развития, т.-е. взять общество целиком как нечто, производящее богатства, без возможности определить ту часть, которая возвращается к каждому в производстве. Нужно сорганизоваться в коммунистическое общество,—не для рассмотрения абсолютной справедливости, но потому, что стало невозможным определить участие индивидуума в том, что уже не является больше индивидуальной работой.

Как видно, задача, лежащая перед революционером нашего времени, необ'ятна. Тут дело касается не какого-нибудь простого отрицания: — например, уничтожение крепостного права или главенства папы.

Здесь вопрос идет о работе созидательной. Мы должны открыть новую страницу мировой истории, выработать новый порядок вещей,—основанный не на солидарности внутри одного племени или сельской или городской общины, но на солидарности и равенстве всех. Попытки солидарности, ограниченной либо узами родства, либо территориальными разграничениями, или принадлежностью к гильдии или классу, не имея успеха, привели нас к работе над построением общества, основанного на совершенно другой

идее, чем та, на которой основывались общества в средние века или в древности.

Решение задачи несомненно не так просто, как ее часто представляют. Переменить людей у власти и вернуть каждого в его мастерскую, чтобы он принялся там за вчерашнюю работу, пустить в обращение рабочие боны и обменивать их на товары—эти простые решения будут недостаточны. Это будет не жизненно, потому что существующее производство одинаково ложно как в целях, которые оно преследует, так и в средствах, которые оно употребляет.

Созданное, чтобы поддерживать бедность, оно не сумеет обеспечить избыток,—и этот избыток потребуют массы, которые поняли свою продуктивную силу, безмерную благодаря прогрессу современного искусства и техники. Преобразованная с целью держать массы в состоянии близком к нищете, с призраком голода, всегда готовым заставить человека продавать свои силы владельцам земли, капитала и права,—как сможет существующая организация производства дать человеку благосостояние?

Преобразованные в целях поддерживать иерархию трудящихся, созданные для того, чтобы эксплоатировать крестьянина в пользу индустриального рабочего, углекопа в пользу механика, ремесленника в пользу артиста и так далее, в то время как цивилизованные страны будут эксплоатировать страны

отсталые,—как смогут земледелие и промышленность. такие, каковы они сегодня, обеспечить равенство?

Весь характер земледелия, промышленности, работы нуждается в полном изменении в том случае, если общество придет к той мысли, что земля, машины, заводы должны сделаться полем приложения труда с целью дать благосостояние одинаково всем. Прежде чем «вернуться в мастерские после революции», как нам говорят творцы социалистическо-государственнных утопий, нужно еще узнать, имеет ли та мастерская или тот завод, производящий усовершенствованные орудия убийства или преступления, свой смысл существования; должно ли поле быть раздроблено или нет, если культура останется такой же, какой она была у варваров полторы тысячи лет тому назад, или же она должна стремиться дать наибольшее количество необходимых человеку продуктов.

Надо пройти целый период преобразований. Надо ввести революцию на завод и в поле, в хижину и городской дом, в земледельческое орудие и в могучую машину больших мастерских, в группу текстильных рабочих и в экономический союз всех работающих, в обмен и в торговлю, которые также необходимо социализировать, необходимо построить на новых началах и потребление и в производство.

Нужно, кроме того, чтобы весь мир жил в этот период преобразований: чтобы весь мир чувствовал себя более спокойно, чем в прошлом.

Когда жители городских коммун двенадцатого века решили основать в восставших городах новое общество, освобожденное от господина, они начали с заключения договора о солидарности всех жителей. Мятежники коммуны поклялись во взаимной поддержке друг другу; они приносили так-называемые «соприсягательства» коммун.

Именно договором подобного рода должна будет начаться социальная революция. Договор совместной жизни, но не смерти; единения, но не взаимного истребления. Договор солидарности для рассмотрения всего наследия прошлого как общего достояния, договор о разделе согласно принципам равенства всего того, что могло бы помочь пережить кризис: провианта и амуниции, жилищ и накопленной энергии, орудий и машин, знания и силы—договор солидарности для потребления продуктов так же, как и для пользования средствами производства.

Сильные в своих заговорах, буржуа двенадцатого века,—даже в момент начала борьбы против господина, в целях существования во время этой борьбы и благополучного доведения ее до конца,—они принялись организовать свое общество по гильдиям и ремеслам. Таким образом, они достигли того, что могли гарантировать известное благосостояние гражданам. Точно так же, и социальная революция чувствуя себя сильной благодаря договору солидарности, который соединит общество в моменты радости и горя, победы и поражения, сможет, будучи тогда в

полной безопасности, предпринять громадную работу по реорганизации производства и обмена. Если она хочет жить, она должна заключить этот договор.

И в своей новой работе, которая будет работой созидательной, народные массы должны будут рассчитывать прежде всего на свои собственные силы, на свою собственную инициативу и свой организаторский гений, свою способность проложить новые пути, потому что все буржуазное воспитание шло по совершенно противоположным путям.

Эта задача огромна. Но не в поисках уменьшения ее заранее найдет народ необходимые силы для ее разрешения. Наоборот, в понимании всего ее величия, в черпании вдохновения даже во всех трудностях, найдет народ необходимый гений для победы.

Все действительно великие прогрессивные движения человечества, все действительно великие действия народов создавались таким образом, и в понимании всей величины своего задания найдет революция свои силы.

Не должен ли революционер быть в полном сознании возложенной на него задачи? и не закрывать глаз на все трудности? смотреть им прямо в лицо?

———

С заговором против всех своих хозяев,—заговором с целью гарантировать для всех свободу, обеспечить для всех известное благосостояние—выступили горожане двенадцатого века. С требованием обеспечить для всех хлеб и свободу должна выступить социальная

революция. Чтобы все без исключения знали, что когда случится революция, ее первой мыслью всегда будет снабдить всех жителей города или местности хлебом, жилищем, одеждой,—и в этом единственном деле общей солидарности революция найдет силы, которых не хватало предшествовавшим революциям.

Но для этого нужно отказаться от всех заблуждений древней политической экономии буржуазии. Нужно навсегда отделаться от вознаграждения во всех его возможных формах, и смотреть на общество, как на одно большое целое, организованное для достижения наибольшей производительности при наименьшей затрате человеческих сил. Нужно привыкнуть смотреть на персональное вознаграждение за услуги как на нечто невозможное, как на неудавшуюся попытку прошлого и как на препятствие для будущего в том случае, если она еще будет существовать.

И нужно отделаться не только в принципе, но в приложении на практике от принципа власти, от концентрации функций, которая составляет суть нынешнего общества.

При такой задаче было бы очень грустно, если бы революционные работники обманывали себя относительно ее простора, и не пробовали бы отдать себе отчет в том, каким образом они надеются ее разрешить.

IV.

Буржуазия является силой не только потому, что она обладает богатством, но, главным образом, потому, что она воспользовалась досугом, который ей дало богатство, чтобы изучить искусство управлять и выработать науку, которая служит для оправдания власти. Она знает, чего она хочет, она знает, что нужно для того, чтобы ее идеал общества сохранился; а пока трудящийся также не будет знать, что ему нужно, и как этого достичь, он должен будет остаться рабом того, который знает.

Было бы, конечно, нелепо стремиться выработать в воображении общество таким, каким оно должно выйти из революции. Было бы праздным и неуместным вести заранее споры о способах удовлетворить ту или иную нужду будущего общества, или о форме организации той или иной детали народной жизни. Романы, которые мы выдумываем для будущего, предназначены лишь для того, чтобы определять наши желания, доказывать возможность существования общества без хозяина, видеть, что идеал может быть применим, не сталкиваясь с непреодолимыми препятствиями. Роман остается романом. Но всегда находятся известные великие строки, с которыми надо согласиться, чтобы создать что бы то ни было.

Буржуа 1789 года прекрасно знали, что было бы тщетно спорить о деталях парламентского правления,

о котором они мечтали; но они сходились на двух существенных пунктах: они хотели сильного правительства и это правительство должно было быть представительным. Больше того: оно должно было быть централизованным, имея в провинции органы с целой иерархией чиновников, и целую серию мелких управлений в избранных муниципалитетах. Но оно должно также быть построенным на двух отдельных ветвях: на власти законодательной и власти исполнительной. То, что они называли «правосудием», должно было быть независимым от власти исполнительной, и до известной степени и от власти законодательной.

Они сходились на двух существенных пунктах по вопросу экономическому. В их идеале общества частная собственность стоит вне всяких споров и пресловутая «свобода соглашений» провозглашалась как основной принцип организации. Еще больше, лучшие из них в самом деле думали, что этот принцип действительно возродит общество и явится источником богатства для всех.

Более применяясь к деталям, нежели оставаясь сильными в этих существенных пунктах, они могли в один или два года совершенно реорганизовать Францию согласно своему идеалу и дать ей свод гражданских законов (впоследствии узурпированный Наполеоном), — свод законов, который в течение девятнадцатого века копировался всей европейской буржуазией, когда она получала власть.

Они работали над этим в изумительном согласии. И если, вслед за тем, возникла страшная борьба в Конвенте, это произошло оттого, что народ, увидев себя обманутым в своих надеждах, пришел с новыми требованиями, которые не поняли его вожаки, или что некоторые из них тщетно старались примириться с буржуазной революцией.

Буржуа знали, чего они хотели; они давно думали об этом. В течение долгих лет они вынашивали идеал правления, и когда народ поднялся, они заставили его работать над реализацией их идеала, сделав ему по известным пунктам несколько второстепенных уступок, как, например, уничтожение феодальных прав или равенство перед законом [1]).

Не зарываясь в детали, буржуа задолго до революции установили общую линию будущего. Можем ли мы то же сказать о трудящихся?

К сожалению, нет. Во всем современном социализме, и главным образом в его умеренной части, мы видим явную тенденцию не углублять принципы общества, которое должно торжествовать через революцию. Это понятно. Для умеренных говорить революционно значит компрометировать себя, и они предвидят, что, нарисовав перед трудящимися простой план паллиативных реформ, они потеряют своих самых пламенных последователей. Они предпочитают

[1]) См мою «Великую Французскую Революцию»

также презрительно относиться к тем, кто говорит о будущем обществе или старается определить работу революции. «Потом будет видно, выберут лучших людей и они сделают все к лучшему!» Вот их ответ.

Что же касается анархистов, то боязнь увидеть себя разделенными в вопросе о будущем обществе и парализованными в своем революционном порыве действуют на них в том же смысле. Среди трудящихся обычно предпочитают отложить все споры, которые (совершенно несправедливо) называют теоретическими, и забывают, что, может быть, через несколько лет они должны будут сказать свое мнение по всем вопросам организации общества, от действия хлебных печей до действия школ или защиты территории, — и тогда они не будут иметь перед собою образцов английской революции, которой вдохновлялись жирондисты прошлого века.

В революционных кругах очень принято смотреть на революцию как на великий праздник, во время которого все устроится к лучшему само собой. В действительности же, в тот день, когда все старинные учреждения будут разрушены, в тот день, когда вся эта огромная машина, которая плохо ли, хорошо ли удовлетворяет насущные потребности большинства публики, перестанет действовать, тогда будет нужно, чтобы народ сам взялся за реорганизацию разбитой машины.

Ламартин и Ледрю-Роллен проводили по двадцать четыре часа над составлением декретов, скопированных со старых республиканских образцов, давно заученных наизусть. Но что говорили эти декреты? — Они повторяли лишь торжественные фразы, которые в течение лет обсуждались в республиканских собраниях и клубах, и эти декреты не касались ничего, что составляет суть ежедневной жизни нации. Ибо временное правительство 1848 года не касалось ни собственности, ни вознаграждения, ни эксплоатации, оно могло лишь ограничиться более или менее громкими фразами: оно отдавало приказания, одним словом делало все то, что делают каждый день в учреждениях государства. Нужно было лишь изменить фразеологию. И в то же время одна эта работа поглотила все силы вновь пришедших.

Для нас, революционеров, которые понимают, что народ должен прежде всего есть и кормить своих детей, задача будет более трудной. — Имеется ли достаточно муки? Попадет ли она в печи булочных? И как сделать, чтобы доставка мяса и овощей не прекращалась? Имеет ли каждый жилище? Нет ли недостатка в одежде? и т. д. Вот, о чем придется нам думать.

Все это потребует работу громадную, жестокую в подлинном смысле слова со стороны тех, кому дорог успех революции. — «Одни были в лихорадке в течение восьми дней, шести недель» — писал один старинный член Конвента в своих мемуарах, — «мы

же были в лихорадке в течение четырех лет без перерыва». И изнуряемый этой лихорадкой, среди вражды и неприятностей, должен будет работать революционер.

Он должен будет действовать. Но как действовать, если он уже давно не знает, какой идеей ему руководиться, каковы те главные черты организации, которые, согласно ей, отвечают запросам народа, его обширным желаниям, его нерешительной воле?

И еще осмеливаются говорить, что все это не нужно, что все это устроится само собой! Буржуа, как более разумные, изучают уже способы, как обуздать революцию, как ее обмануть, по какому пути направить ее, чтобы она потерпела крушение. Они изучают не только способы давления оружием народных восстаний в деревнях (при помощи небольших блиндированных поездов и пулеметов) и в городах (здесь главные штабы изучили детали в совершенстве); но они изучают также, как руководить революцией, делая ей своевременно воображаемые уступки, сея раздор между революционерами и, главным образом, направляя их по тому пути, на котором революция должна неизбежно завязнуть в грязи личных интересов и мелкой индивидуальной борьбы.

Да, революция будет праздником, если она будет работать над освобождением всех; но чтобы это освобождение совершилось, революционер должен будет обнаружить смелость мысли, энергичность в действии, уверенность в суждении и строгость в ра

боте, к которой народ редко доказывал свою способность в предыдущих революциях, но о которой уже начали мечтать предвестники в последние дни Парижской Коммуны и в первые дни забастовок последнего двадцатилетия.

V.

— «Но откуда же взять эту смелость мысли и эту энергию в работе, если их нет у народа? Не признаете ли вы сами—скажут нам—что если в народе нет недостатка в наступательной силе, то зато смелость мысли и строгость в преобразовании слишком часто изменяли ему?».

Мы вполне признаем это. Но мы также не забываем о той доли инициативы, которая появляется у людей во время революционных движений. И об этой-то инициативе мы теперь хотим сказать несколько слов, чтобы закончить наш очерк.

Инициатива, свободная инициатива каждого, и возможность каждого заставить ценить эту силу во время народных восстаний—вот что придавало непреодолимую мощь революциям. Историки-государственники говорят о ней мало или совсем не говорят. Но именно на эту силу мы рассчитываем, чтобы предпринять и закончить великую работу социальной революции.

Если революции прошлого сделали хоть что-нибудь, го исключительно благодаря мужчинам и женщинам инициативы, тем неизвестным, которые показывались в толпе и не боялись принять перед своими братья-

ми и сестрами ответственность за действия, которые казались трусам безрассудной смелостью.

Большая масса с трудом решается предпринять нечто, что не имело прецедента в прошлом. В этом можно убеждаться ежедневно. Если косность на каждом шагу покрывает нас плесенью, то только потому, что нехватает людей инициативы, которые разрушили бы все традиции прошлого и отважно бросились бы навстречу неизвестному. Но лишь только в мозгах зародится мысль, пока еще неясная, смутная, неспособная разбираться в действиях, и появятся люди инициативы и возмуться за работу — за ними немедленно пойдут вслед другие, лишь бы только работа отвечала бы общим стремлениям. И если даже, разбитые усталостью, они уйдут, однажды начатая работа будет продолжаться тысячами последователей, о существовании которых никто не смел предполагать. Это история всей жизни человечества,—история, которую каждый может доказать на основании собственных глаз, собственного опыта. Лишь те, кто хотел итти навстречу желаниям и нуждам человечества, были прокляты и покинуты своими современниками.

К несчастью, люди инициативы встречаются в будничной жизни очень редко. Но в революционные эпохи они появляются и именно они, собственно говоря, и создают прочную работу революций.

На них наша надежда и упование в будущей революции. Лишь бы они имели правильный и, следова-

тельно, широкий взгляд на будущее, лишь бы они имели смелость мысли и не стремились бы возродить прошлое, обреченное на смерть; лишь бы их вдохновлял высокий идеал,—и за ними пойдут. Никогда, ни в какую эпоху своего существования, человечество не ощущало большей потребности к великому вдохновению, как в данный момент нашей жизни, когда мы прожили целое столетие, полное буржуазного разложения и гнили.

— —

Но чтобы они появились, нужна подготовительная работа. Необходимо, чтобы те новые идеи, которые отметят новое начало в истории цивилизации, были бы намечены до революции; чтобы они были усиленно распространены в массах с целью быть подвергнутыми критике практических умов и, до известной степени, экспериментальной оценке. Нужно, чтобы мысли, которые зародились до революции, были бы в достаточной мере распространены, для того, чтобы известное количество умов успело к ним привыкнуть. Нужно, чтобы слова: «анархия», «уничтожение государства», «свободное согласие рабочих групп и коммун», «коммунистическая коммуна» стали бы известными, настолько известными, чтобы интеллигентное меньшинство старалось бы их углубить.

Тогда такие, как Шалье, Жак Ру или Доливье будущей революции будут поняты массами, которые после первоначального удивления заметят в этих словах выражение своих собственных стремлений.

— А зависть среди самих угнетенных? И не замечали ли часто и вполне правильно, что зависть является камнем преткновения среди демократии? Что если трудящийся слишком терпеливо переносит высокомерие своего хозяина, но смотрит завистливым взглядом на личное влияние товарища по мастерской.— Не будем отрицать этого; не будем прятаться за аргумент, вполне впрочем правильный, что зависть всегда рождает сознание, что товарищ, раз он только приобрел влияние, употребит его на то, чтобы предать своих вчерашних друзей, и что единственной возможностью парализовать зависть, как предательство, было бы отнять у этого товарища, как у буржуа, возможность увеличивать свою власть, возможность сделаться хозяином.

Все это правильно, но есть еще больше. Мы все с нашим государственным воспитанием, видя возникающее влияние, думаем лишь о том, как его уничтожить, и мы забываем, что есть еще один более сильный способ парализовать вредные влияния или влияния, которые могут быть вредными. Этот способ действовать лучше со стороны.

В рабском обществе этот способ невозможен, и мы, дети рабского общества, не думаем о нем. Если король стал невыносим, каким способом отделаться от него, как не убить? Если министр нам мешает, что делать как не искать другого, который бы его заместил? И если «народный избранник» внушает нам отвращение, мы ищем другого, который бы составил

ему конкуренцию. Так это делается. Но разве это разумно?

Что, в самом деле, могли сделать члены Конвента по отношению к королю, который не уступал им права, как не гильонитировать его? и что могли сделать Монтаньяры по отношению к Жирондистам, облеченным теми же правами,—как не послать их в свою очередь к палачу? Итак, это прежнее положение осталось у нас до настоящего времени. И тем не менее единственный действительный способ парализовать вредное влияние, это взять на себя инициативу действия и направить его в лучшую сторону.

Также, когда мы слышим о революционерах, которые восторгаются при мысли о том, как придется заколоть или застрелить правителя, который может захватить власть во время революции, то нас охватывает страх при мысли, что силы настоящих революционеров могут иссякнуть в борьбе, которая была бы, в сущности, только борьбой за или против людей в шитых золотом мундирах. Об'явить им войну, это значит признать необходимость иметь других людей, также одетых в те же мундиры.

В 1871 году в Париже уже смутно предчувствуется лучший способ действия. Революционеры из народа казалось понимали, что «Совет Коммуны» должен рассматриваться как простое украшение, как дань, уплачиваемая традициям прошлого; что народ не только не должен был разоружаться, но что он дол-

жен был сохранить рядом с Советом свою внутреннюю организацию, свои союзные группы, и что от этих групп, а не от Городской Ратуши, должны исходить все необходимые меры для создания триумфа революции.

К несчастью, известная скромность народных революционеров, зараженными также предрассудками власти, еще очень сильными в эту эпоху, мешала этим союзным группам совершенно обходить Совет и действовать так, как будто бы он не существовал совершенно, чтобы открыть новую эру в социальном строительстве.

— —

Мы не избегнем возвращения этих попыток революции. Но будем, по крайней мере, знать, что самый действительный способ уничтожения власти не будет государственный переворот, который вернет власть к иной форме, приводящей к диктатуре. Единственно действительным способом было бы дать народу силу, мощную в своем действии, в своей революционной работе строительства, которую она бы выполнила, вопреки правительству, как бы оно ни называлось, и постоянно увеличивая свою революционную инициативу, свое революционное вдохновение, свою работу строительства и разрушения. Во время Великой Революции 1789—1794 года секции Парижа и других больших городов и революционные управления в мелких городах, обходя Конвент и провинциальные органы революционного правительства

принялись набрасывать попытки реконструкции экономического переустройства и свободного согласия Общества. Это нам сегодня доказывают уже опубликованные документы, касающиеся деятельности этих мало известных органов революции—народных секций и обществ.

Над народом, который сумеет сам организовать потребление богатств и их производство в интересах всего общества, никто не сможет больше властвовать. Народу, который сам будет вооруженной силой страны, и который сумеет дать вооруженным гражданам связь и единство необходимых действий, никто не сможет повелевать. Народом, который сумеет построить свои железные дороги, свой флот, свои школы, никто не сможет управлять. И, наконец, народу, который сумеет организовать свои третейские суды для разбора мелких споров, и которые каждое лицо будет рассматривать как возможность помешать негодяю обмануть слабого, не дожидаясь высшего вмешательства полиции,—этому народу не будет нужно ни полицейских, ни судей, ни тюремщиков.

В революциях прошлого народ брал на себя работу разрушения; что же касается роботы строительства, он предоставлял ее буржуа.—«Лучше нас знакомые с искусством управлять, приходите к нам, господа; организуйте нас, прикажите нам работать, чтобы мы не умерли с голоду; помешайте нам уничтожать друг друга, наказывайте и милуйте нас согласно тех законов, что вы создали для нас, нищих

умом!». И мы знаем, как избранные пользовались приглашением.

Итак, задача, лежащая перед народом во время будущего восстания, это завладеть именно этой функцией, которую он некогда предоставлял буржуа. Она состоит в том, что надо создавать,—организовать, уничтожая, и строить, чтобы разрушать.

И уже настало время в виду этой перестройки соединиться, чтобы быть в состоянии немедленно приняться за работу: изучать ошибки предыдущих революций так же, как и их хорошие стороны; анализировать; что они сделали, чтобы обеспечить хлеб для всех, производство всех богатств и обмен продуктов, и главным образом равенство в правах, без которого не может быть ни справедливости, ни братства. Наконец, изучать по-товарищески способы избежания этих ошибок или, по крайней мере, уменьшения их насколько возможно.

Чтобы выполнить эту задачу, народная революция будет нуждаться во всем могуществе инициативы всех людей сердца, во всей смелости их мысли, освобожденной от кошмаров прошлого, во всей их энергии, всем их уме, она должна будет также остерегаться парализовать инициативу самых решительных; она должна будет просто удвоить их инициативу, когда ее недостает у других, когда она ослабевает или когда она принимает ошибочное направление. Смелость мысли и, главным образом, полное и ясное сознание того, что хочешь, не только в отвлеченных

обобщениях, но и в приложении к будничной жизни, сила созидательная, возникающая в самом народе по мере того, как растет отрицание власти, и, наконец, общая инициатива в созидательной работе,—вот что даст революции ту силу, которой она должна обладать, чтобы победить.

Именно эти силы старается развить активная пропаганда анархистов так же, как и сама философия Анархии. Дисциплине,—этому якорю спасения государственников, — они противоставляют свободную мысль и полную инициативу всех и каждого. Жалким идеям мелких реформ, провозглашенным обуржуазившимися партиями, они противоставляют великую и свободную мысль революции, которая одна только может дать необходимое вдохновение. И тем, кто желал бы, чтобы народ ограничился ролью пущеной против правителей стаи псов, всегда во-время сдерживаемой хлыстом, мы скажем: «Участие народа в революции должно быть положительным и в то же время разрушительным. Потому что только он один может достигнуть реорганизации общества на основах равенства и свободы для всех. Возложить эту заботу на других, значило бы изменить даже основе революции».

КОММУНИЗМ И АНАРХИЗМ.

На важности этого вопроса едва ли нужно настаивать. Многие анархисты и многие мыслители вообще,— вполне признавая все выгоды коммунистического строя, — видят в нем, однако, серьезную опасность для общественной свободы и для свободного развития личности. Что такая опасность действительно существует, нет никакого сомнения. Притом, коснувшись этого предмета, приходится разобрать другой, еще более важный вопрос—о взаимных отношениях личности и общества вообще.

К несчастью, вопрос о коммунизме осложнился разными ошибочными воззрениями на эту форму общественной жизни, получившими довольно широкое распространение. В большинстве случаев под именем коммунизма проповедывался коммунизм, более или менее, христианский и монастырский—и, во всяком случае, подначальный, т.-е. подчиненный строгой центральной власти. В таком виде его проповедывали в первой половине девятнадцатого века, и в таком виде его осуществляли в немалом числе общин. Принимая за образец семью, эти общины стремились создать «великую коммунистическую семью» и, ради

этого, хотели прежде всего «переродить человека». Вследствие этого, помимо труда сообща, они налагали на своих членов тесное, семейное сожительство, удаление от современной цивилизации, обособление коммуны и вмешательство «братьев и сестер» во все малейшие проявления внутренней жизни каждого из членов общины.

Затем, в рассуждениях о коммунизме часто смешивают мелкие единичные общины, многократно создававшиеся за последние триста или четыреста лет, и те общины,—имеющие возникнуть в большом числе и вступающие между собою в союзные договоры, которые могут создаться в обществе, выступившем на путь социальной революции.

Таким образом, для успешного обсуждения вопроса о коммунизме и о возможности обеспечить личную независимость в коммунистическом обществе,—необходимо рассмотреть порознь следующие вопросы:

1) Производство и потребление сообща, т.-е.,—каким образом можно устроить работу сообща и как пользоваться сообща всем, что нужно для жизни?

2) Совместную жизнь, т.-е. необходимо ли устраивать ее непременно по образцу большой семьи?

3) Единичные и разбросанные общины, общины возникающие в настоящее время; и

4) Общины будущего строя, вступающие между собою в союзный договор (федерацию);

И, наконец, 5)—общинная жизнь влечет ли за собою неизбежно подавление личности? Другими словами—положение личности в общинном строе.

I.

Под именем социализма вообще в течение девятнадцатого века совершилось громаднейшее умственное движение. Началось оно с Бабефа, Фурье, Сен-Симона, Роберта Оуэна и Прудона и продолжалось их многочисленными последователями: французскими (Консидеран, Пьер Леру, Луи Блан), немецкими (Маркс, Энгельс, Шефле), русскими (Чернышевский, Бакунин) и так далее,—которые либо распространяли в понятной форме воззрения основателей современного социализма, либо старались утвердить их на научном основании.

Мысли основателей социализма, по мере того, как они вырабатывались в более определенных формах, дали начало двум главным социалистическим течениям: коммунизму начальническому и коммунизму анархическому (безначальному), а равно и нескольким промежуточным формам, выискивающим компромиссы, или сделки, между теперешним обществом и коммунистическим строем. Таковы школы: государственного капитализма (государство владеет всем необходимым для производства и жизни вообще), коллективизма (всем выплачивается задельная плата, по рабочим часам, бумажными деньгами, в которых место рублей заняли рабочие часы), кооперации (производи-

тельные и потребительные артели), городского социализма (полу-социалистические учреждения, вводимые городскою управою или муниципалитетом) и многие другие.

В то же время, в чисто рабочей среде, те же мысли основателей социализма (особенно Роберта Оуэна) помогли образованию громадного рабочего движения. Оно стремится соединить всех рабочих в союзы по ремеслам, ради прямой, непосредственной борьбы против капитала; и мало-по-малу это движение (породившее в 1861—1879 годах Интернационал, или Международный Союз Рабочих) стремится установить всенародную связь между об'единенными ремеслами, и успевает в этом все более и более, по мере того, как международные сношения становятся более удобными.

* * *

Три существенных пункта было установлено этим громадным движением, умственным и революционным, и эти три пункта глубоко проникли за последние тридцать лет в общественное сознание. Вот они:—

1) Уничтожение порядка задельной платы, выдаваемой капиталистом рабочему,—так как эта система представляет собою ничто иное, как современную форму древнего рабства и крепостного ига;

2) Уничтожение личной собственности на то, что необходимо обществу для производства; и

3) Освобождение личности и общества от той формы политического порабощения — государства, —

которая служит для поддержания и сохранения экономического рабства.

По этим трем пунктам, можно сказать, установилось уже некоторое соглашение между мыслящими социалистами.

Действительно, даже коллективисты, которые настаивают на необходимости «рабочих чеков», или платы по часам работы, а равчо и те, которые говорят, как выразился поссибилист («возможник») Брусс: «Все должны быть чиновниками! (Tous—fo. ctio n aires), то-есть, что все рабочие должны быть на жаловаиьи, либо у государства, либо у города, либо у сельской общины,—даже они соглашаются, в сущности, с вышеупомянутыми тремя пунктами.—Они предлагают ту или другую временную сделку только потому, что не предвидят возможности сразу перейти от теперешнего строя к коммунизму. Они идут на уступки, потому что считают их неизбежными; но их конечная цель—все-таки остается коммунизм.

Что же касается до государства, то даже те из них, которые остаются ярыми защитниками сильной государственной власти и даже диктатуры, признают (как выразился однажды Энгельс), что когда классы, существующие теперь, будут уничтожены, то с ними исчезнет и надобность в государстве.

Таким образом, нисколько не стремясь преувеличивать значение анархической партии в социалистическом движении, из-за того только, что она—«наша» партия, мы должны признать следующее:

Каковы бы ни были разногласия между различными партиями обще-социалистического движения — при чем эти разногласия обусловливаются, в особенности, различием в способах действия, более или менее, революционных, принятых тою или другою партиею,—все мыслители социалистического движения, к какой бы партии они ни принадлежали, признают, что конечной целью социалистического развития должно быть развитие вольного коммунизма. Все остальное,—сами же они сознаются— есть ничто иное, как ряд переходов на пути к этой цели.

* * *

Всякое рассуждение о переходах, которые придется сделать на пути к цели, будет совершенно бесполезно, если оно не будет основано на изучении тех направлений, тех зачаточных переходных форм, которые теперь уже намечаются в современном обществе.

Среди этих различных направлений два особенно заслуживают нашего внимания.

Одно из них состоит в том, что по мере того, как сложнее становится жизнь общества, все труднее и труднее бывает определить, какая доля в производстве пищи, одежды, машин, жилья и тому подобного по справедливости должна приходиться на долю каждого отдельного работника. Земледелие и промышленность теперь до того осложняются и взаимно переплетаются, все отрасли промышленности до того начи-

нают зависеть друг от друга, что оплачивать труд, смотря по количеству добытых или выработанных продуктов, становится все более и более невозможным, если стремиться к справедливости. Работая одинаково усердно, два человека, на разного сорта земле, в разные годы, или в двух разных угольных копях, или же на двух разных ткацких фабриках при разных машинах, или даже на той же машине, но при разном хлопке, произведут различные количества хлеба, угля, тканей.

Поэтому мы видим, что чем развитее становится данная промышленность, тем более исчезает в ней поштучная заработная плата, — тем охотнее заменяется она поденною платою, по стольку-то в день.

С другой стороны, сама поденная плата имеет стремление к уравнению. Теперешнее общество, конечно, продолжает делиться на классы, и есть целый громаднейший класс «господ» или буржуа, у которых жалованье тем выше, чем менее они сработают в день. Затем, среди самих рабочих есть также четыре крупных разряда, в которых рабочий день оплачивается очень различно; а именно: женщины, сельские рабочие, чернорабочие и рабочие, знающие какое-нибудь ремесло. Но эти четыре разряда различно оплачиваемых рабочих представляют только четыре разряда эксплоатации рабочего его хозяином, и каждого разряда самих рабочих — другими, высшими разрядами: женщин — мужчинами, сельских рабочих — фабричными.

Теперь оно так; но в обществе, в котором установится равенство между людьми и в котором хозяин не сможет пользоваться подчиненным положением рабочего, мужчина — подчиненным положением женщины, а городской рабочий — подчиненным положением крестьянина, — в таком обществе деление на классы исчезнет. И поэтому совершенно справедливо было замечено, что для правильно устроенного общества рабочий день землекопа стоит столько же, то-есть *имеет одинаковую ценность*, что и день ювелира, или учителя. В силу этого, еще Роберт Оуэн, а за ним Прудон, предложили, и даже оба попробовали ввести *рабочие чеки*; то-есть каждый человек, проработавший, скажем, пять часов в каком бы то ни было производстве, признанном полезным и нужным, получает квитанцию с означением: «*пять часов*»; и с этою квитанциею он может купить в общественном магазине любую вещь — еду, одежду, предмет роскоши — или же заплатить за квартиру, за проезд по железной дороге и так далее, представляющие то же количество часов работы других людей. Эти самые чеки, коллективисты и предлагают ввести в будущем социалистическом обществе для оплаты всякого рода труда.

* * *

Если вдуматься, однако, во все то, что до сих пор было сделано, чтобы установить общественное, социалистическое пользование чем бы то ни было, мы не

видим, за исключением нескольких тысяч фермеров в Америке, которые ввели между собою рабочие чеки, — мы не видим, чтобы где-нибудь мысль Роберта Оуэна и Прудона, проповедуемая теперь коллективистами, развилась в сколько-нибудь значительных размерах. Со времени попытки Оуэна, сделанной три четверти века тому назад, рабочий чек не привился нигде. И я указал в другом месте (Хлеб — и Воля, глава о задельной плате), какое внутреннее противоречие мешает широкому приложению этого проекта.

Зато, мы замечаем, наоборот, множество всевозможных попыток, сделанных именно в направлении коммунизма — либо частного, ограниченного, неполного, либо даже полного.

Многие сотни коммунистических общин были основаны в течение девятнадцатого века в Европе и Америке; и даже в настоящую минуту нам лично известно около сотни, если не более, общин, живущих более, или менее на началах коммунизма. И если бы кто-нибудь занялся описанием всевозможных, больших и малых, коммунистических и полукоммунистических общин, рассеянных по белу свету, то картина получилась бы весьма любопытная.

Но еще поразительнее количество попыток обобществления, делающихся повсеместно, среди самой буржуазии, на началах коммунизма, хотя и частного, ограниченного, неполного. И делаются эти попытки либо большими группами частных лиц,

либо целыми городами (так называемый муниципальный или городской социализм).

* * *

Что такое гостиница, пароход, швейцарский «пансион», как не попытки, делающиеся в этом направлении среди буржуазного общества? За определенную плату — столько-то рублей в день — вам представляется выбирать, что вам вздумается из десяти блюд, или из пятидесяти блюд, на большом пароходе, и никому в голову не приходит учитывать, сколько вы чего с'ели. Такая организация теперь установилась даже международная. Уезжая из Лондона или Парижа, вы можете запастись билетами (по 2 рубля 50 копеек в день), и по этим билетам вы получаете комнату, кровать и стол в сотнях гостиниц, рассеянных во Франции, Германии, Швейцарии, Италии, и принадлежащих к международному союзу гостиниц.

Буржуа прекрасно поняли, какую громадную выгоду представляет им этот вид ограниченного коммунизма, для потребления,—соединенного с полною независимостью личности; вследствие этого, они устроились так, что за определенную плату, по столько-то в день или в месяц, все их потребности жилища и еды бывают вполне удовлетворены, без всяких дальнейших расчетов. Предметы роскоши, конечно, не входят в этот договор: за тонкие вина и за особенно роскошные комнаты приходится платить особо; но за плату одинаковую для всех, основ-

ные потребности удовлетворены, не считая того, сколько каждый отдельный путешественник с'ест. или не доест за общим столом.

* * *

Застрахование от пожаров, — особенно в селах. где существует до некоторой степени приблизительное равенство в достатках всех жителей, и где поэтому страховая премия взимается равная со всех, застрахование от случайных увечий во время путешествий по железным дорогам; застрахование от воровства, при чем вы платите в Англии немного более рубля в год, и компания выплачивает вам, по вашей собственной оценке, за все, чтобы у вас ни украли, ценою до тысячи рублей — и делает это без всяких разбирательств и без всякого обращения к полиции («С какой стати?» — говорил нам агент - «обращаться к полиции! все равно она ничего не разыщет, а ваш рубль попокрывает наши платежи и другие расходы, еще с барышем») — все это формы частного коммунизма. или вернее артельной жизни, возникающие чрезвычайно быстро за последние двадцать пять лет. Прибавьте к этому еще ученые общества, которые за такую-то плату в год дают вам библиотеку, комнаты для ваших работ, музей или зоологический сад, которые ни один миллионер не может купить на свои миллионы; прибавьте клубы, дающие вам комнату, библиотеку, общество и всякие другие удобства; возьмите общества застрахования на случай болезни,

возьмите артельные путешествия, устраиваемые не только частными агентами, но и образовательными учреждениями (Polytechnic Tours в Англии); или возьмите обычай, распространяющийся теперь в Англии, что за рубль, или даже за полтинник в неделю, вам доставляют на дом, прямо от рыболовов, столько рыбы, сколько вы можете с'есть в неделю в вашей семье; возьмите клуб велосипедистов, с его тысячами мелких удобств и услуг, оказываемых членам, и так далее и так далее.

Словом, мы имеем перед собою сотни учреждений, возникших очень недавно и распространяющихся с необыкновенною быстротою, основанных на началах приближения к коммунистическому пользованию целыми обширными отраслями потребления.

И, наконец, мы имеем еще, тоже быстро разростающиеся городские учреждения коммунистического рода. Город берется доставлять всем воду, за столько-то в год, не считая в точности, сколько вы израсходуете воды; газ, электричество для освещения и как рабочую силу (ради этого Манчестер решил уже купить свои угольные копи). Города имеют теперь свои гавани и доки, свои конки, свои электрические трамваи, с одинаковою платою за большое или за малое расстояние (начиная от нескольких сот шагов до 30-ти верст, вы платите в Америке все ту же плату), свои общественные бани и прачечные, и наконец, города начинают строить свои общественные дома; или же город держит своих овец, или, наконец

заводит свою молочную ферму (Торкэ в Англии). И с каждым годом эти попытки расширения городского хозяйства в коммунистическом направлении растут, и распространяется область их приложений.

II.

Конечно, все это еще не коммунизм. Далеко не коммунизм. Но основная мысль всех этих учреждений содержит в себе частицу коммунистического начала. А именно: За известную плату, по столько-то в год, вы имеете право удовлетворить такой-то разряд ваших потребностей—за исключением, конечно, роскоши в этих потребностях. Теперь вы еще платите за это деньгами, но близок день, когда платить можно будет и трудом: начало уже положено.

Многого еще, конечно, недостает этим учреждениям, чтобы стать коммунистическими; главным образом, не коммунистично то, что, во-первых, плата производится деньгами, а не трудом; а во-вторых, потребители, по крайней мере, в частных предприятиях, не имеют голоса в заведывании делом.

Но нужно также заметить следующее. Если бы основная мысль этих учреждений была правильно понята, то не трудно было бы, уже теперь, завести даже частному предпринимателю, такую общину, в которой первый пункт (то-есть уплата трудом) был бы уже введен. Возьмите, например, участок земли, скажем в 500 десятин. На этой земле строит-

ся двести домов,—каждый с садом в четверть десятины. Остальная земля обращается в поля, огороды и общественные сады. Предприниматель берется либо представлять каждой семье, занимающей эти дома, на выбор любые из пятидесяти блюд, приготовляемых им каждый день (как в американской гостинице), или же он доставляет желающим готовый хлеб, сырое мясо, овощи, чай и кофе,—сколько они потребуют—чтобы готовить у себя на дому (шаг в этом направлении делают рыбаки, доставляя на дом рыбу). Отопление производится, конечно, по-американски, из общей печи по трубам с горячей водой. За все это хозяин учреждения берет с вас—либо плату деньгами, по столько-то в день, либо оплату работою, по столько-то часов в день, в любой из отраслей, нужных для его села-гостиницы. Работайте по вашему выбору в полях, или в огороде, или на кухне, или по уборке комнат, столько-то часов в день, и ваша работа зачтется в уплату за вашу жизнь. Такое учреждение можно было бы завести хоть завтра и приходится удивляться одному,—что этого давно уже не было сделано каким-нибудь предприимчивым содержателем гостиницы [1]).

---

[1]) С тех пор, как эти строки были написаны, я ездил в Америку. Там, в Кембридже (около Бостона) устроена при университете, кроме громадной, роскошной столовой для богатых студентов, еще громадное, не менее художественное здание—очень дешевая столовая для более бедных студентов. А так как у многих студентов и тут нечем пла-

По всей вероятности, некоторые читатели заметят, что, именно, на этом пункте - то есть на работе сообща—коммунисты наверно провалятся, так как на нем уже провалились многие общины. Так, по крайней мере, написано во многих книгах. А между тем, это будет совершенно неверно. Когда коммунистические общины проваливались, то причины неудачи обыкновенно бывали совсем не в общем труде.

Во-первых, заметим, что почти все такие общины основывались в силу полу-религиозного увлечения. Основатели таких общин решали стать «глашатаями человечества, пионерами великих идей», и следовательно—подчиняться строжайшим правилам мелочно требовательной «высокой» нравственности, «переродиться» благодаря общинной жизни, и наконец, отдавать все свое время, во время работы, своей общине—жить исключительно для нее.

Все это очень хорошо, даже прекрасно: именно таким самопожертвованием и проводятся в жизнь

тить, то их охотно берут в половые, чтобы прислуживать за столами в часы обеда, и студенты в Америке, как известно, очень охотно это делают. Они платят, таким образом, за свой стол не деньгами, а трудом, по известному расчету. Нет никакой причины, почему при этих столовых не завести бы также свою ферму: Бостон, оказывается—большой производитель земледельческих и садовых продуктов—главный, по денежному обороту, садовый и огородный центр в штате Массачусетс. Впрочем, и об этом уже поднята была нами речь, и идея принята сочувственно. Школьные фермы, наверно, скоро привьются, и в Америке заведут фермы и при университетах.

новые мысли. Но поступать так, значило—поступать, как делали в старину отшельники; то-есть требовать от людей—безо всякой нужды—чтобы они стали чем-то другим, чем они есть на самом деле. И только недавно, совсем недавно, стали основываться общины, преимущественно рабочими-анархистами, безо всяких таких высоких целей—просто с целью избавиться от обирания хозяином-капиталистом.

Другая ошибка коммунистов состояла в том, что они непременно желали устроиться по образцу семьи и основать «великую семью братьев и сестер». Ради этого они селились под одним кровом, где им приходилось всю жизнь оставаться в обществе всех тех же «братьев и сестер». Но тесное сожительство, под одним кровом, вообще,—вещь нелегкая. Два родных брата и то не всегда уживаются в одной избе, или в одной квартире. А потому было коренною ошибкою налагать на всех членов жизнь «большою семьею» вместо того, чтобы, напротив, обеспечить каждому наибольшую свободу и наибольшее охранение внутренней жизни каждой семьи. Уже то, что русские духоборы, например, живут в отдельных избах—гораздо лучше обеспечивает сохранение их полу-коммунистических общин, чем жизнь в одном монастыре.

Затем, маленькая община не может долго просуществовать. Известно, что люди, вынужденные жить очень тесно, на пароходе или в тюрьме, и обреченные на то, чтобы получать очень небольшое количество внешних впечатлений, начинают просто

не выносить друг друга (вспомните собственный опыт, или хоть Нансена с его товарищами). А в маленькой общине, довольно двум человекам стать во враждебные отношения, чтобы, при бедности внешних впечатлений, общине пришлось распасться, — тем более, что все такие братства еще уединяются от других.

Поэтому, основывая маленькую общину, так и следовало бы знать заранее, что больше нескольких лет она не может прожить. Если бы она прожила долее, то пришлось бы даже пожалеть об этом. Из этого следовало бы заключить, что ее члены, или дали себя поработить одним из них, или совершенно обезличились.

Но так как можно заранее быть уверенным, что маленькая община долго не проживет, то следовало бы, по крайней мере, иметь десяток или два таких общин, об'единенных союзным договором. В таком случае, тот, кто по той или другой причине захочет оставить свою общину, сможет, по крайней мере, перейти в другую, а его место может занять кто-нибудь со стороны. Иначе братство гибнет из-за раздоров, при чем (как оно бывает в большинстве случаев) его имущество попадает в руки одного из членов—наиболее хитрого и ловкого «брата». Эту мысль, о необходимости союзного договора между братствами, я настоятельно предлагаю всем тем, которые продолжают основывать коммунистические общины. Она родилась не из теории, а из опыта последних

лет, особенно в Англии, где несколько общин попало в руки отдельных «братьев», именно из-за отсутствия более широкой организации.



Маленькие общины, основанные во множестве за последние тридцать лет, гибли еще по одной весьма важной причине. Они уединялись «от мира сего». Но борьба и жизнь, одушевленная борьбою, — для человека деятельного гораздо нужнее, необходимее, чем сытый обед. Потребность жить с людьми, окунуться в бурный поток общественной жизни, принять участие в борьбе, жить жизнью других и страдать их страданиями, особенно сильна в молодом поколении. Поэтому, как это отлично заметил мне Николай Чайковский, —вынесший это из личного опыта,— молодежь, как только она подходит к восемнадцати годам, неизбежно покидает свою общину; и молодежь неизбежно будет покидать свои общины, если они не слились с остальным миром и не живут его жизнью. Между тем, большинство коммун (за исключением двух, основанных нашими друзьями в Англии, вблизи больших городов) до сих пор прежде всего считало нужным удалиться в пустыню.

Замечу еще, что коммунисты, поступавшие таким образом, делали еще другую ошибку. Беря даром, или покупая за более дешевую цену землю в местах, еще мало заселенных, они тем самым прибавляли ко всем трудностям новой для них жизни еще все те труд

ности, с которыми приходится бороться всякому поселенцу на новых местах, вдали от городов и больших дорог. А трудности эти, как известно по опыту, очень велики. Правда, что они получали землю за дешевую плату; но опыт коммуны около Ньюкэстля доказал нам, что в материальном отношении община гораздо лучше и скорее обеспечивает свою жизнь, занимаясь огородничеством и садоводством (в значительной мере в парниках и оранжереях), а не полеводством; при чем вблизи большого города ей обеспечен сбыт плодов и овощей, которыми оплачивается даже высокая арендная плата за землю. Самый труд огородника и садовника несравненно доступнее городскому жителю, чем полевое хозяйство, а тем более — расчистка нивы в незаселенных пустынях.

* * *

Наконец, еще одною, едва ли не главною, причиною распадения таких общин являлось, почти всегда, их желание — дать себе начальство. Те из них, которые низводили свое правительство до наименьшей степени, или вовсе не имели никакого, как, например, Молодая Икария в Америке, еще преуспевали лучше и держались дольше других (тридцать пять лет). Оно и понятно. Самое большое ожесточение между людьми возникает всегда на политической почве, из-за преобладания, из-за власти; а в маленькой общине споры из-за власти тем неизбежнее ведут ее к распадению. В большом городе мы еще можем жить бок о бок с на

шими политическими противниками, так как мы не вынуждены сталкиваться с ними беспрестанно. Но, — как жить с ними в маленькой семье, где приходится сталкиваться каждую минуту? Политические споры и интриги из-за власти переносятся здесь в мастерскую, в огород, в коровник, в комнату, где люди собираются для отдыха — и жизнь становится невозможною.

* * *

Вот главные причины распадения основных до сего времени общин.

Что же касается до коммунистического труда сообща, до общинного производства, то, именно, оно всегда удавалось вполне. Ни в одном коммерческом предприятии возрастание ценности земли, приданной ей трудом человека, не было так велико, как оно было в любой, в каждой из общин, основанных за последние сто лет в Европе или в Америке. Редкая отрасль промышленности давала такую прибыль, как промышленные производства, основанные на коммунистических началах — будь ли то меннонитская мельница, или фабрикация сукон, или рубка леса, или выращивание плодовых деревьев. Можно назвать сотни общин, в которых в несколько лет земля, неимевшая сначала никакой ценности, получала ценность в десять, или даже во сто раз большую.

Ошибки в хозяйстве, конечно, случались в коммунистических общинах, как и везде. Но известно, что в промышленном мире число банкротств бывает

из года в год от 60-ти до 80-ти на каждые сто новых предприятий. Из каждых пяти вновь основанных предприятий три или четыре банкротятся в первые же пять лет после их основания. Но ничего подобного не было с коммунистическими общинами.

Поэтому, когда буржуазные газеты, желая быть остроумными, советуют дать анархистам особый остров и предоставить им там основывать свою коммуну, то, пользуясь опытом прошлого, мы ничего не имеем против такого предложения. Мы только потребуем, чтобы этот остров был Остров Франции (провинция Ile-de-Fra ce, в которой находится Париж) и чтобы нам отделили нашу долю общественного богатства, сколько его придется на человека. А так как нам не дадут ни Иль-де-Франс, ни нашу долю общественного капитала, то мы когда-нибудь сами возьмем и то и другое, путем Социальной Революции. И то сказать, Париж и Барселона были не так-то уже далеко от этого в 1871-м году, — а с тех пор коммунистические взгляды успели-таки распространиться среди рабочих.

При этом всего важнсе то, что нынче рабочие начинают понимать, что один какой-нибудь город, если бы он ввел у себя коммунистический строй, не распространивши его на соседние деревни, встретил бы на своем пути очень большие трудности. Ввести коммунистическую жизнь следовало бы сразу в известной области, — например, в целом Американском Штате, Огайо или Идахо, как говорят наши американские друзья, социалисты. И они правы. Сделать

первые шаги к осуществлению коммунизма, надо будет в довольно большой промышленной и земледельческой области, а отнюдь не в одном только городе. Город без деревни не сможет жить.

III.

Нам часто приходилось уже доказывать, что государственный коммунизм не возможен, и мы не станем здесь вновь перечислять наши доводы. Самое лучшее доказательство то, что сами государственники—т.-е. защитники социалистического государства — не верят в возможность коммунизма, устроенного под палкой государства.

Одни из них так заняты «завоеванием власти» (conquête des pouvoirs) в теперешнем буржуазном государстве, что они вовсе даже не стараются выяснить, что такое подразумевают они под именем социалистического государства, которое не было бы вместе с тем осуществлением государственного капитализма, то-есть такого строя, при котором все граждане становятся работниками, получающими задельную плату от государства. Когда мы им говорим, что они стремятся именно к этому, они сердятся; но, несмотря на это, они вовсе не стараются выяснить, какую другую форму общественных отношений они желали бы осуществить. Причина этого понятна. Так как они не верят в возможность близкой социальной революции, они стремятся захватить часть власти в теперешнем буржуазном го-

сударстве, и представляют будущему, чтобы оно само определило свое направление.

Что касается до тех, которые пробовали набросать картину будущего общества, то, когда мы им указывали что, придавая широкое развитие государственному началу, они тем самым подрывают ту небольшую личную свободу, которую человечеству удалось уже отвоевать, они, обыкновенно, отвечали, что вовсе не хотят над собою власти, а только хотят завести Статистические Комитеты. Но это—простая игра словами. Теперь достаточно уже известно, что единственная путная статистика исходит от самой личности. Только сама личность, каждая в отдельности, может дать точные статистические сведения насчет своего возраста, занятий и общественного положения, подвести итоги тому, что каждый из нас произвел и потребил. Так и собирается теперь статистика, когда составители действительно хотят, чтобы их цифры заслуживали доверия. Так делались, между прочим, и наши «подворные описи» честными земскими статистиками из молодежи.

Вопросы, которые надо поставить каждому обывателю, вырабатываются обыкновенно добровольцами (учеными, статистическими обществами), и роль статистических комитетов сводится теперь на то, что они раздают печатные листы с вопросами, а потом сортируют карточки и подводят итоги при помощи вычислительных машин. Поэтому утверждать, что социалист так именно и понимает государство, и что

никакой другой власти он ему и не хочет вручать, значит (если сказано искренно) попросту «отступить с честью». Под словом Государство во все века, да и самими государственниками-социалистами, понимался вовсе не рассыльный, разносящий листы переписи, и не счетчик, подводящий итоги переписи, а действительные распорядители народной жизни. Надо и то сказать, что бывшие якобинцы порядком посбавили за последнее время свои восторги перед диктатурой и социалистической централизацией, которые они так горячо проповедывали лет тридцать тому назад. Нынче никто из них не решится утверждать, что потребление и производство картофеля должно устанавливаться из Берлина парламентом немецкого фолькштата (Народного Государства). Подобный вздор уже перестали утверждать.

Таким образом, Коммунистическое Государство есть утопия, от которой начинают отказываться те самые, которые прежде стояли за нее,—и давно пора заняться другим, более серьезным вопросом. А именно: анархический, то есть свободный и безгосударственный Коммунизм не представляет ли также опасности для свободного развития личности? Не повлечет ли он за собою тоже уменьшение свободы личности и подавления личного почина?

* * *

Дело в том, что во всех рассуждениях о Свободе нам приходится считаться с целою кучею ложных

представлений, завещанных нам веками рабства и религиозного гнета.

Экономисты толкуют нам, что договор, заключаемый рабочим, под угрозою голода, с его хозяином, именно и есть сама свобода. Политиканы всяких партий стараются, с своей стороны, убедить нас, что теперешнее положение гражданина, попавшего в крепость ко всемогущему государству, ест именно то, что следует называть свободою. И, наконец, моралисты, даже самые крайние, как Милль и его многочисленные последователи, определяют понятие о свободе, как право делать все, лишь бы не нарушать такое же право всех остальных. Не говорю уже о том, что слово «право», унаследованное нами из смутных стародавних времен, ничего ни говорит, или говорит слишком много; но определение Милля позволило философу Спенсеру, очень многим писателям и даже некоторым индивидуалистам-анархистам, как, например, Теккеру, оправдать и восстановить все права государства, включая суд, наказание и даже смертную казнь.—Таким образом, они в сущности воссоздали то самое государство, против которого выступили сначала с такою силою. При том мысль о «свободной воле» скрывается под всеми этими рассуждениями.

* * *

Оставляя в стороне полубессознательные поступки человека и беря только сознательные (на них только

и стараются оказать влияние закон, религии и системы наказания)—беря только сознательные поступки человека, каждому из них предшествует некоторое рассуждение в нашем мозгу.—«Выйду-ка я погулять», проносится у нас мысль...—«Нет, я назначил свидание приятелю», проносится другая мысль. Или же: «Я обещал кончить мою работу», или—«Жене и детям скучно будет одним», или же, наконец: «Я потеряю свое место, если я не пойду на работу».

В этом последнем рассуждении сказался страх наказания. В трех же первых человек имел дело только с самим собою — со своими частными привычками, или со своими личными привязанностями. И в этом состоит вся разница между *свободным* и *несвободным* состоянием. Человек, которому пришлось сказать себе: «Я отказываюсь от такого-то удовольствия, чтобы избежать такого-то наказания» — человек несвободный.

И вот мы утверждаем, что человечество *должно* освободиться от страха наказания, уничтожив само наказание; и что оно *может* устроиться на анархических началах, при которых исчезнет страх наказания и даже страх порицания. К этому идеалу мы и стремимся.

Мы прекрасно знаем, что человек *не может* освободиться ни от привычек известной честности (например, от привычки быть верным своему слову), ни от своих привязанностей (нежелание причинить боль, или даже огорчение тем, кого мы любим, или

кого мы не хотим обмануть в их ожидании). В этом смысле человек **никогда не может быть свободен.** Даже Робинзон не был свободен в этом смысле на своем острове. Раз он начал долбить свою лодку, обрабатывать огород, или запасать провизию на зиму, он уже был захвачен своим трудом. Если он вставал ленивый и хотел поваляться в своей пещере, он колебался минуту, а затем шел к своей начатой работе. С той же минуты, как у него завелся товарищ-собака, или несколько коз, а в особенности с тех пор, как он встретился с Пятницею, он уже не был **вполне свободен**, в том смысле, в каком это слово нередко употребляется в жару спора и иногда на публичных собраниях.

У него уже были **обязанности**, он уже вынужден был заботиться об **интересах другого**, он уже не был тем «полным индивидуалистом», которого нам иногда расписывают, в виде поразительного порадокса, в спорах об Анархии. С той же минуты, как у Робинзона завелась бы жена и дети — кто бы их ни воспитывал: сам ли он или «общество» — у него возникли бы еще новые обязательства; но даже с той минуты, как у него завелись хоть одно домашнее животное и огород, требующий поливки и ухода в известные часы дня,—он уже не был более тем «знать ничего не хочу», «эгоистом», «индивидуалистом» и тому подобное, которых нам иногда выставляют типами свободного человека. Ни на Робинзоновом острове, ни, еще менее, в обществе, **как бы оно ни было**

устроено, такого вольного гультяя не существует.

Человек всегда принимал и всегда будет принимать в расчет интересы хоть нескольких других людей, — и будет принимать их все более и более, по мере того, как между людьми будут устанавливаться более и более тесные взаимные отношения, — а также и по мере того, как эти другие сами будут определеннее заявлять свои желания и свои чувства и настаивать на их удовлетворении.

Вследствие этого, мы не можем дать Свободе никакого другого определения, кроме следующего:

Свобода есть возможность действовать, не вводя в обсуждение своих поступков боязни общественного наказания (телесного, или страха голода, или даже боязни порицания, если только оно не исходит от друга).

Понимая Свободу в этом смысле — а я сомневаюсь, чтобы можно было дать ей другое, более широкое, и вместе с тем конкретное (вещественное) определение — мы должны признать, что Коммунизм, конечно, может уменьшить и даже убить всякую личную свободу (во многих общинах так и делали); но что он также может расширить эту свободу до ее последних пределов; и что только при этом условии — расширении личной свободы — он сможет утвердиться в человеческих обществах.

Все будет зависеть от того, с какими основными воззрениями мы приступаем к коммунизму. Сама коммунистическая форма

общежития отнюдь не обусловливает подчинение личности. Больший же или меньший простор, предоставленный личности в данной форме общежития, если только она не устроена заранее в подначальной, пирамидальной форме,—определяется теми воззрениями на необходимость личной свободы, которые вносятся людьми в то или другое общественное учреждение.

Сказанное справедливо по отношению ко всякой форме общественной или совместной жизни. Когда два человека селятся вместе в одной квартире, их совместная жизнь может привести одинаково—либо к подчинению одного из них другому, либо к установлению между ними отношений равенства и свободы для обоих. То же самое будет, если мы возьмемся вдвоем копать огород, или издавать газету; и то же самое относится до всякого другого союза или артели и всякой формы общественной жизни. Таким образом, в десятом, одиннадцатом и двенадцатом веке, в городах того времени создавались общины вольных и равных людей; но в тех же самых общинах, четыреста лет спустя, народ, под влиянием учений Церкви и Римского Права, требовал диктатуры какого-нибудь монарха. Учреждения городского суда, цеховое устройство и прочее остались те же; но тем временем в городах развились понятия Римского Права, верховной Церкви и государственного права,

тогда как первоначальные понятия о третейском суде, о свободном договоре и о личном почине притупились, исчезли;—и из этого родилась рабская приниженность семнадцатого и начала восемнадцатого века в средней Европе.

* * *

Если присмотреться внимательнее, то нет никакого сомнения, что из всех испробованных до сих пор форм общественной организации и учреждений, коммунизм еще больше всех других может обеспечить свободу личности—если только основною идеею общины будет Свобода, Анархия.

Коммунизм может принять все формы, начиная с полной свободы личности и кончая полным порабощением всех—между тем как другие формы общественной жизни не могут проявляться безразлично в том или другом виде: те из них, например, которые не признают гражданского и имущественного равенства, неизбежно влекут за собою порабощение одних людей другими. Коммунизм же может проявиться, например, в форме монастыря, в котором все монахи безусловно подчиняются воле настоятеля; но он может выразиться и в форме вполне свободной артели, в которой каждый член сохраняет полнейшую независимость, при чем сама артель существует только до тех пор, покуда ее члены желают этого, и, нисколько не стремясь накладывать присуждение, стра-

раются еще защищать свободу каждого и расширять ее во всех направлениях.

Коммунизм, конечно, может быть начальническим, принудительным,—и в этом случае, как показывает опыт, община скоро гибнет,—или же может быть анархическим. Тогда как, например, государство, будь оно основано на крепостном праве или на коллективизме, роковым образом должно быть принудительным. Иначе оно перестает быть государством.

* * *

Что коммунизм лучше всякой другой формы общежития, может обеспечить экономическую свободу—ясно из того, что он вполне может обеспечить каждому члену общества благосостояние, и даже удовлетворение потребностей роскоши, требуя взамен не более четырех или пяти часов работы в день вместо того, чтобы требовать от него десять, или девять, или хотя бы даже восемь часов в день. Дать каждому досуг, в течение десяти или одиннадцати часов из тех шестнадцати часов в сутки, которые представляют нашу сознательную жизнь (около восьми часов надо положить на сон)—уже значит расширить свободу личности настолько, что такого расширения человечество добивается, как идеала, вот уже сколько тысяч лет. В настоящее время, при наших могучих способах производства, это, однако, вполне возможно. В коммунистическом обществе человек легко может иметь каждый день полных десять часов

досуга, и вместе с тем пользоваться благосостоянием А такой досуг уже представляет освобождение от одной из самых тяжелых барщин, существующих теперь в буржуазном строе. Досуг, сам по себе, уже составляет громадное расширение личной свободы.

Затем,—признать всех людей равными и отречься от управления человека человеком,—опять-таки представляет расширение свободы личности; при чем мы не знаем никакой другой формы общежития, при которой это увеличение личной свободы могло бы быть достигнуто в той же мере. Но достичь этого возможно только тогда, когда первый шаг будет сделан,—то-есть, когда каждому члену общества будет обеспечено существование, и когда никто не будет вынужден продавать свою силу и свой ум тому барину, который соблаговолит воспользоваться этой силой ради собственной нажины.

Наконец,—признать, как это делают коммунисты, что первое основание всякого дальнейшего развития и прогресса общества есть **разнообразие занятий**,—опять-таки представляет расширение свободы личности. Если каждый член общества может отдаваться, в часы досуга, чему ему вздумается в области науки, искусства, творчества, общественной деятельности и изобретения, и если в самые часы работы он имеет возможность работать в разнообразных отраслях производства, а само воспитание ведется сообразно этой цели—в коммунистическом же обществе это вполне возможно,—то этим дости-

гается еще большее увеличение свободы, так как перед каждым из нас широко раскрывается возможность расширить свои личные способности во всех направлениях. Области, прежде недоступные, как наука, художество, творчество, изобретения, и так далее, открываются для каждого.

В какой мере личная свобода осуществится в каждой общине, или в каждом союзе общин, будет зависеть исключительно от основных воззрений, которые возьмут верх при основании общин. Так, например, мы знаем одну обширную религиозную общин, в которой человеку возбранялось даже выражать свое внутреннее настроение. Если он чувствовал себя несчастным, и горе выражалось на его лице, к нему немедленно подходил один из «братьев» и говорил: «Тебе грустно, брат? А ты все-таки сострой веселое лицо: иначе огорчительно подействуешь на других братьев и сестер». И мы знаем одну английскую общину, состоявшую из семи человек, в которой один из членов,—Кочкаревы водятся и между социалистами—требовал назначения председателя («с правом бранить») и четырех комитетов: садоводства, продовольствия, домашнего хозяйства и вывоза, с полными правами для председателя каждого из комитетов. Есть, конечно, общины, которые были основаны, или были наводнены со временем, такими «преступными фанатиками власти» (особый тип, рекомендуемый доктору Ломброзо); и не мало общин было основано фанатиками «поглощения личности обществом».

Но таких фанатиков произвел не коммунизм. Их породило Церковное Христианство (глубоко-начальническое в своих основных началах) и Римское Право,—то-есть государство и его учения. Эти государственные воззрения,—в силу которых никакое общество не может якобы существовать без судьи и секутора, вооруженного розгами и секирою,—действительно останутся угрозою и помехою коммунизму, пока люди не отделаются от них. Но основное начало коммунизма—вовсе не начальство, а то простое утверждение, что для общества выгоднее и лучше овладеть всем, что нужно для производства и жизни сообща, не высчитывая, что каждый из нас произвел и потребил. Это основное понятие ведет к освобождению, к Свободе, а не к порабощению.



Мы можем, таким образом, высказать следующие **Заключения**:

До сих пор попытки коммунизма кончались неудачею, потому что:

Они имели большею частью религиозный характер, тогда как в Коммуне следовало просто видеть экономный способ производства и потребления;

Они отчуждались от Общества, его жизни и его борьбы;

Они были пропитаны духом начальствования;

Они оставались одиночными, вместо того, чтобы соединяться в союзы: общины были слишком малы;

Они требовали от своих членов такого количества труда, которое не оставляло им никакого досуга, и стремились всецело поглотить их;

Они были основаны, как сколки с патриархальной и подчиненной семьи, тогда как им следовало, наоборот, поставить себе основною целью наивозможно полное освобождение личности.

Коммунизм — учреждение хозяйственное; и, как таковое, он отнюдь не предрешает, какая доля свободы будет предоставлена в общине личности, почину личности и отпору, который встретит в отдельных личностях стремление однажды установленных обычаев к утверждению навеки в определенной, окаменелой форме. Коммунизм может стать подначальным, и в таком случае община неизбежно гибнет; и он может быть вольным, и привести в таком случае, как это случилось даже при неполном коммунизме в городах двенадцатого века, к зарождению новой цивилизации, новой жизни, обновившей тогда Европу.

Из этих двух форм коммунизма—вольного и подначального—только тот и будет иметь задатки прогресса и жизни, который сделает все, что возможно, чтобы расширить свободу личности во всех возможных направлениях.

В этом последнем случае, свобода личности, увеличенная ее досугом, возможностью обеспечить себе благосостояние и вольным трудом, при меньшем числе рабочих часов,—нисколько не пострадает более, чем, например, теперь от проводимого городского газа или

городской воды, или же от современной гостиницы, и от того, что мы теперь, в часы работы, вынуждены работать сообща с тысячами других людей.

Имея анархию, как цель и как средство, коммунизм становится возможен, тогда как без этой цели и средства он должен обратиться в закрепощение личности и, следовательно, привести к неудаче.

ПАРИЖСКАЯ КОММУНА.

I.

Годы проходят, с тех пор, как Париж превозгласил, 18 марта 1871 года, свою Коммуну; а между тем рабочие всех стран продолжают это восстание —эту попытку создать, в революционной столице Европы ставшей вольным, независимым городом, ту почву, на которой могла бы развиваться пролетарская, социальная революция.

Мало того, мысль о Коммуне, независимой, вольной и начинающей у себя социальную революцию, сделала с тех пор такие громадные успехи, что будущая революция во Франции несомненно начнется именно с провозглашения вольных коммун.

Расскажем же вкратце это замечательное движение.

Но чтобы верно понять весь смысл Парижской Коммуны, надо вернуться назад—к февральской революции 1848-го года и к состоянию умов во Франции перед войною и во время войны 1870—1871-го года. Все это теперь забыто, а молодому поколению революционеров преподносили столько извращенных отчетов об этих временах, что необходимо, хотя бы

вкратце рассказать выдающиеся черты событий, пережитых Францией за это время.

24-го февраля 1848, после трехдневного боя на баррикадах, Парижский народ смел правительство «буржуазного короля Луи-Филиппа и провозгласил республику.

Эту победу одержал народ, рабочие. Они покрыли весь город баррикадами, которые шаг за шагом подступали из предместий к центру, ко дворцу. Они доставали оружие, гибли под пулями. Буржуазная же национальная гвардия помогла революции только тем, что—тоже недовольная реакционной политикой короля, она, не становясь на сторону революции, тем не менее парализовала войска своим присутствием на улицах, мешала им и отчасти прикрывала, таким образом, сражавшийся народ.

Наконец, 24 февраля, баррикады подступили к самому дворцу. Король бежал. Народ, ворвавшись в Палату, разогнал депутатов и об'явил республику. Франция и вся Европа, кто с радостью, а кто—скрепя сердце, признали это падение орлеанской монархии.

Но парижская буржуазия не теряла голову в перевороте. Она сейчас же выдвинула «Временное Правительство», из умеренных республиканцев, конечно, буржуазных, которые—она знала—не допустят до социалистической ломки буржуазного строя. Впрочем, в виде подачки народу, стоявшему с оружием в руках вокруг Ратуши, в правительство приняли уме-

ренного государственного социалиста Луи Блана и его товарища, рабочего Альбера. Но, конечно, из коммунистов (они тогда называли себя «коммунистами материалистами»), из которых слагались тайные общества Бланки, Барбеса и др.,—которые и дрались на баррикадах,—буржуазия никого не допустила до участия в правительстве.

Рабочие же, по тому ли что не в силах были потребовать большего в ту минуту, так как буржуазная национальная гвардия могла обратиться против них, или же сами хорошенько не знали, как и с чего начать социальную революцию,—предоставили этому Временному Правительству утвердиться.

При том у них должно было явиться и такое соображение. Раз назначалось правительство для всей Франции,—для всего французского народа, а не для одного Парижа,—надо было выбирать не известных рабочих, а таких людей, которых может признать вся страна—по крайней мере на время, пока не будет созвано Учредительное Собрание.

Только этого и нужно было буржуазии. Выпустив много красивых прокламаций, Временное Правительство стало организовать правительственную силу. Везде оно насажало своих губернаторов (префектов), везде захватило полицию и суды, везде организовало буржуазную милицию.

Луи Блана и Альбера, с верившими им рабочими, «демократами-социалистами», правительство изолировало во дворце бывшей Верхней Палаты (Люксем-

бурге), и там они стали обсуждать—сперва проекты рабочих производительных ассоциаций, которые должны были быть основаны со ссудою от правительства (если будут деньги), а потом—проекты государственного капитализма, разработанные Видалем и Пеккером в виде обширной законодательной меры, те самые проекты, которые нынче зовутся «коллективизмом» и выдаются за новейшее открытие немцами «научного социализма».

А буржуазия тем временем собирала войска вокруг Парижа, организовала свою тайную полицию и подкуп рабочих, сходилась с попами. Учредительное собрание, выбранное всеобщею и тайною подачею голосов, оказалось вполне буржуазным и явно враждебным рабочим. В то же время сторонники принца Людовика Наполеона вели свою пропаганду среди рабочего населения, указывая ему на враждебность республиканской буржуазии к социализму и вселяя надежду, что «принц», который написал книгу о пролетариате и принадлежал к тайному обществу карбонариев,—лишь бы ему добраться до власти, облагодетельствует рабочих. Эта проповедь империализма встретила не мало сочувствия среди государственных социалистов Луи Блановского толка [1]).

---

[1]) С тех пор вера в диктатора, который возьмет в свои руки дело пролетариев, не переставала искусно поддерживаться во Франции, в Англии и в Германии и наделала много зла рабочему движению.

Народ Парижа, и особенно коммунисты-материалисты тайных обществ, поняли тогда, что революции скоро положат конец, и попытались 15 мая свергнуть правительство и распустить Национальное Собрание. Но было уже поздно. Движение не удалось, и главных деятелей — Бланки, Барбеса и других—заперли в тюрьму.

Месяцем позже, буржуазия прямо вызвала парижский народ на восстание. У нее были теперь войска, собранные вокруг Парижа, и надежный генерал, чтобы командовать ими, а рабочие были доведены безработицею и голодовкою до отчаяния. В феврале они давали «три месяца нищеты на службу республике», в надежде, что тем временем что-нибудь будет сделано для рабочих. Теперь, когда всякая надежда на буржуазную республику пропала, они восстали. Сперва в их рядах еще слышались крики «Да здравствует Наполеон!» Но со второго дня восстания они выкинули на баррикадах красное знамя и их крик стал: «Хлеба или пуль! Работы или смерть! Да здравствует социальная республика!»

Бой был отчаянный, он длился несколько дней с ожесточением. Но рабочие были разбиты, тут началась та страшная реакция, которая длилась с тех пор целые двадцать лет.

Буржуазия свирепствовала во-всю. Лучших людей из парижских рабочих перебили; пленных расстреливали кучами; других, тысячами увозили в ссылку. А когда Париж обессилили, тогда и сама республика

скоро была задушена, утоплена в крови Наполеоном III (1852). Провозглашена была империя. Социализм стал запретным словом. Буржуазия подписывала большие суммы, чтобы пускать в обращение противосоциалистическую литературу, а прежнюю литературу конфисковали и истребляли. Забвение легло на всю громадную работу, сделанную социалистами во Франции до 1848 года.

Мрак наступил во всей Европе, когда вслед за Франциею революционное брожение было задушено в Италии, в Австрии, в Пруссии, в Венгрии. И длился этот мрак вплоть до шестидесятых годов.

Только тогда явились признаки пробуждения во Франции, и в 1866-м году из соглашения между парижскими и английскими рабочими сложился Международный Союз Рабочих, или Интернационал, с которого и началось новое движение европейского пролетариата.

В два-три года Интернационал быстро развился и стал силою. Число рабочих, присылавших своих депутатов на ежегодные конгрессы Интернационала, и ежегодно возраставшая смелость их социалистических требований нагоняли страх на буржуазию. Парижские, лионские и другие рабочие, как только почувствовали новое движение, стали быстро отвечать на призыв. Лучшие люди из рабочих пристали к Интернационалу и выдержали из-за него в Париже три процесса. Старые заговорщики республиканцы, нерабочие, вынуждены были тоже зашевелиться, и вскоре

сила империи была подорвана. Париж заволновался в своих глубинах. Повсеместно собирались митинги, о которых забыли думать с 1848 года—и на этих собраниях социализм и социальный переворот стали главным предметом обсуждения.

Наполеоновская империя разваливалась под напором молодых сил. Реакция пошла на уступки, призвала «либеральное министерство»,—но все это было ни к чему. Париж заволновался, и уже в день похорон Виктора Нуара, предательски убитого одним из князей Бонапартов, стало ясно, что дни Империи сочтены.

Тогда в июле 1870 года вспыхнула франко-немецкая война. Предлог войны, как всегда, был пустой; но оба правительства, наполеоновское и прусское, т.-е. бисмарковское, оба уверенные в победе вынудили, ускорили давно уже собиравшуюся войну. Пруссия, которая ввела у себя, первая в Европе, всеобщую воинскую повинность, ограбила перед этим Данию; затем разбивши Австрию, она стала во главе Германского Союза. Теперь война представлялась для нее, в случае победы, средством утвердить свое преобладание в Германии. А потому, зная как сравнительно слаба была Франция, которая держалась еще старой рекрутчины, а потому не могла выставить более полумиллиона войска,—Бисмарк посоветовавшись с Мольтке, сделал войну неизбежной. Он хвастался этим впоследствии. В ту минуту, когда все недоразумения уже улаживались, он подделал одну телеграмму и

изменил ее так, что война была об'явлена через несколько часов. Бонапартисты же, с своей стороны, тоже хотели войны; они были уверены, что победы Франции утвердят на престоле наполеоновскую династию, и кричали: «В Берлин!»

Известно чем кончилась эта ужасная война. После отчаянного трехдневного сражения при Гравелотте, главная Французская армия была разбита; она отступала в полном замешательстве перед превосходившими ее силами немцев и, наконец, окруженная на бельгийской границе, 2 сентября сдалась вместе с Наполеоном. Таким образом пала империя. 4 сентября в Париже была провозглашена республика.

Теперь, с падением воинствующей Наполеоновской империи, война, казалось, должна была бы прекратиться. Так понимали дело рабочие в Интернационале—даже в самой Германии,—и почти одновременно юрцы в Швейцарии и центральный комитет рабочей социал-демократической партии в Брауншвейге-Вольфенбюттеле выпустили манифесты, требовавшие заключения мира. Немецкий манифест, за который члены комитета, Браке, Бонгорст, Шпир, Кюн и Гралле смело пошли в крепость, был особенно замечателен, так как требовал, чтобы с падением Наполеона мир был немедленно заключен «без ущерба для французского народа».

Несколько дней спустя, генеральный совет Интернационала тоже выпустил подобное воззвание; а 14 сентября д-р Якоби и Гейб, оба из немецкой

социал-демократической партии, пошли в крепость за гласный протест на митинге против присоединения Эльзаса и Лотарингии. Вскоре за ними последовали, за такой же протест, Бебель и Либкнехт. Но немецкое правительство стремилось именно отобрать у Франции Эльзас и Лотарингию; оно хотело также взять столицу Франции, наложить тяжелую контрибуцию, и немецкие войска вскоре обложили Париж и начали осаду.

Тогда многим стало ясно, что Германия вела войну вовсе не против Наполеоновского властолюбия, как говорилось вначале, а против всего того, что представляла собою Франция в Европе. Революционерам стало ясно то, что так ярко излагал Бакунин в «Письмах к французу»,—т.-е. что поражение Франции будет поражением революционного духа во всей Европе,—по крайней мере на полстолетия. Гарибальди высадился в Марсели, и к нему начали собираться волонтеры всех национальностей на защиту республики, а в самой Франции был сделан ряд попыток провозгласить Коммуны, составить федерацию вольных Коммун, и, сражаясь против феодальной Германии, вместе с тем поднимать народное восстание и начинать социальную революцию.

Эти попытки и подготовили умы к провозглашению Коммуны в Париже.

15-го сентября Бакунин был уже в Лионе, подготовляя восстание, и 28 сентября, пользуясь рабочею манифестациею, движение началось. Рабочие овла-

дели Ратушею и об'явили низложение всех властей, но движение не было поддержано массою рабочих, и буржуазия скоро восстановила «порядок». Характер, который Интернационалисты хотели придать восстанию, был выражен в прокламации, выпущенной ими за два дня до начала движения; в ней предлагалось народу провозгласить низложение всех государственных властей и установить на их место общинные Комитеты спасения и федерацию таких комитетов; уничтожить суды и существующие подати, а равно все взыскания по закладным; новые же подати взыскивать с богатых, сообразно потребностям революции.

Вслед за Лионом подобные же движения произошли в Марсели (с 31 октября по 3 ноября), в Руане, в Бресте и наконец в Париже, то же 31 октября, под руководством Бланки. Везде народ волновался, и везде являлась мысль, что только революционная Коммуна могла бы спасти Францию от полного разгрома. Но везде буржуазия, видя, что революция не ограничится одним политическим переворотом, а сразу примет оборот народный, социальный, немедленно выступала с энергиею и, поддерживаемая буржуазным правительством Гамбетты, заседавшим в Туре, немедленно задавливала движение. Народ же был обезоружен и чувствовал свое бессилие; при том в народном уме не было центральной идеи, на которой могли бы сойтись люди, желавшие социального переворота.

Тем не менее, мысль о Коммуне, которая подобно парижской Коммуне 1792-го года, взяла бы в свои руки защиту территории и задачу социально-революционной ломки существующего, — эта мысль росла во Франции, и как только, по заключении мира, к тому представилась возможность. Парижский народ, вооружившийся во время осады, провозгласил свою Коммуну.

II.

По мере того, как центральное правительство оказывалось все более и более неспособным остановить немецкое нашествие, в главных умственных центрах Франции все определеннее росла мысль о независимых революционных Коммунах. Вступивши в федеральный союз, они смогли бы организовать революционный отпор народа немецкому вторжению.

Более всего эта мысль росла в Париже, во время трехмесячной осады немцами. Совершенная неспособность правительства, организовать защиту Парижа и его прямое нежелание воспользоваться силою народного творчества и героизма масс, для защиты города и для отражения немцев, открыли глаза рабочим. Известно, что была минута, когда кольцо немецких армий, окружавшее Париж, едва не было пробито вылазкою парижан, в связи с армиею, шедшею на помощь с юга; но буржуазное начальство прямо-таки не хотело, чтобы, после поражений армий, вооруженный народ освободил Францию от вторжения. Оно

боялось народа более, чем немцев, а тем более—народа вооруженного и победоносного.—«Тогда начнется снова 1793-й год», говорили они.

Они предпочли, поэтому, просто морочить парижан, забавлять их и, наконец, сдать столицу немцам, под предлогом голода, тогда как провизий имелось еще месяца на два. Мец был сдан изменником Базеном; Париж—изменниками Жюль Фавром и Трошю.

Тогда мир был заключен. В Бордо собралось Национальное Собрание—полное олицетворение страхов сельской и городской буржуазии за свои карманы—и его вражда к патриотам, желавшим продолжения войны, к народу вообще, к республике, и в особенности к мятежному Парижу не знала границ. Собрание освистало Гарибальди, оно проклинало даже Гамбету, и с минуты на минуты можно было ожидать, что Собрание восстановит монархию—может быть, даже жену Наполеона, Евгению, с ее сыном...

Но, за время осады, народ Парижа, уже до войны проникавшийся идеями социализма, многому научился из самой жизни. Когда немцы окружили Париж своим железным кольцом, и ясно стало, что осада затянется, естественно было бы смотреть на весь город, как на большую семью: прекратить взнос платы за квартиры (так как все работы остановились), составить списки всех имеющихся запасов провизии, и выдавать порции всем одинаково, по потребностям—словом сделать то, что лучше всего могло бы обеспечить защиту укрепленного города. Ничего этого

буржуазия не допустила. Беднота голодала и дрогла от холода, рабочие дети мерли поголовно от холода и голода, и народ понял тогда, что между им и буржуазиею—пропасть, которой ничем, даже в такие минуты, не заполнишь.

Тогда мысль о революционной Коммуне, подобной Коммуне 1792-го года,—которая уравняла бы бедных и богатых, стала все настойчивее определяться в умах парижан.

Во время осады все парижане были вооружены. Образована была национальная гвардия, и парижане настояли на том, чтобы в каждом батальоне все офицеры были выборные. Таким образом, из командиров батальонов составился особый Центральный Комитет, вполне народного характера, в котором преобладающим элементом были рабочие—члены Интернационала и бланкисты.

Наконец, некоторые рабочие баталионы из последних своих грошей заказали себе пушки и митральезы (теперь —пулеметы), которые были, таким образом, собственностью самих батальонов. Эти пушки они не сдавали теперь правительству (которое намеревалось, между прочим, отдать их немцам), а увезли в рабочий квартал, на вершину Монмартрского холма, где народ окружил их окопами и охранял день и ночь.

Буржуазное правительство было в руках Тьера—одного из самых подлых министров Людовика-Филиппа в сороковых годах, типичного буржуа, злого, народоненавистника, и при том чванного историка, меч

тавшего усмирить, укротить народ по своему плану. Еще в 1848-м году он составлял план усмирения Парижа на долгие годы, при помощи полного разгрома. А Народное Собрание было, пожалуй, еще гнуснее Тьера. Оба сообща решили ни за что не возвращаться в Париж, которого они боялись, а заседать в Версали. Париж переставал, таким образом, быть столицею.

Но этого мало. Париж им надо было обезоружить, так как буржуазия не могла успокоиться, пока парижские рабочие оставались вооруженными. А чтобы обезоружить народ, надо было начать с пушек. И вот, в ноч с 17 на 18 марта, правительственные войска таинственно задвигались по Парижу, занимая главные позиции, важные в случае уличной войны, а артиллеристы были посланы захватить потихоньку пушки.

Но народ не дремал. На Монмартре забили тревогу. Рабочие батальоны стали быстро собираться, а с рабочими шли их жены и сестры; они вмешивались в ряды солдат, братались с ними, дружески говоря им: «неужели вы нас убивать хотите?», расстраивали их отряды,—и дело кончилось тем, что солдаты переставали слушаться своих офицеров и поднимали ружья вверх прикладами.

А тем временем Варлен (друг бакунистов) со своим батальоном уже бежал к Городской Ратуше, а за ними следовали другие рабочие батальоны. Крик «Коммуна!» все определеннее выяснялся среди них.

Тьер поторопился вывести все войска из Парижа, чтобы они открыто не перешли на сторону восстания, и велел всем государственным чиновникам оставить свои места и выехать в Версаль.

И вот, к вечеру, без баррикадной борьбы, без пролития крови, Париж оказался свободным. Народ только расстрелял двух генералов, Клемана и Тома, из которых один прославился еще в июне 1848 года в избиении рабочих. В ратуше была провозглашена Коммуна, и Париж оказался, таким образом, распорядителем своих собственных судеб.

Сильно бились сердца у парижан в эти весенние дни 1871-го года. Всеми чувствовалось, что начиналось что-то новое, зарождалось что то, еще небывалое в истории. Даже буржуазия это чувствовала, «и когда мы с братом выходили из нашей мансарды на улицу» — так говорил мне Элизе Реклю — «даже буржуа из наших знакомых окружали нас и говорили: Что ж, идем вперед! Мы готовы! Говорите — что делать!».

В былые времена, как только совершалась революция в столице, Париж назначал временное правительство и рассылал предписания по всей Франции. Теперь он сам себя развенчивал. Он об'являл, что управлять Франциею он не претендует. Но и не хочет также, чтобы Франция управляла им; он — независимая Община. Он вступит в договор со всею Франциею, с другими Общинами. Он будет с радостью нести свою долю налогов, платежей, долгов, контри-

буций,—сколько падет на него. Он охотно пойдет на защиту всей Франции.

Но у себя дома, он—хозяин. Сам Париж решит для себя, как ему жить и распоряжаться в своих стенах: как кормиться, что производить, какое политическое устройство себе дать, как учить своих детей, как защищаться.

Дробить Францию на мелкие государства он не желает. Напротив,—с другими вольными Общинами он вступит в тесную связь, и эта связь, прямая, непосредственная, будет гораздо теснее, чем та, которая существует через посредство Палаты и правительства, которые в действительности вовсе не представляют страны. Но парижане хотят республики, и монархии не примут, если остальные деревни или города захотят искать себе царя. Если этим деревням нужны попы, освященные папою, то Парижу они вовсе не нужны, и он попам платить ничего не будет. Словом, во весь внутренний распорядок своей жизни он никому не даст вмешиваться.

Правда, парижане отлично понимали, что имея, с одной стороны, против себя немецкую армию, а с другой—Версальскую, у молодой Коммуны мало было надежды победить. Разгром был почти неизбежен. Но сила событий могучее, чем рассуждения отдельных личностей, и все шли вперед, понимая, что даже в случае поражения новая идея будет провозглашена, эта новая идея не даст монархии водвориться во Франции.

А идея была—действительно новая. Парижская Община выдвинула вперед НАРОД, вместо Правительства. Не вожаков, не политиков, а народ. Первые прокламации Коммуны были подписаны переплетчиком, рудокопом, поваром,—рабочими—и ни одного адвоката, ни одного депутата, ни одного журналиста, ни одного генерала!...[1]) Еще бы буржуазии не отнестись к ней с ненавистью! И этот народ, в такую пору, когда все казалось так смутным, сразу ставил целую программу будущего:

«Независимая Община, в которой мог бы развиваться социалистический строй».

За последние годы в Париже много говорилось на народных собраниях о социализме. Необходимость социальных преобразований хорошо понималась парижскими рабочими—самыми развитыми рабочими всего мира; но они понимали также, что необходимо найти новую политическую форму, в которой социализм мог бы осуществляться, и искали ее.

Что эта форма не может быть централизованная республика, управляемая Палатою, хотя бы и выбранною всеобщею подачей голосов,—в этом французы убедились горьким опытом в 1848—1850 годах. Парижские рабочие понимали, что вручить государству, в придачу ко всем теперешним его правам, заведы-

[1]) На это указал уже Артюр Арну в своей «Народной и парламентской истории Парижской Коммуны», в 3-х томах. Ее давно следовало перевести, а не плохенькую, излюбленную марксистами историю Лиссагарэ.

вание производством и распределение того, что нужно людям для жизни,—это значило бы создать самую ужасную тиранию. Нужно было искать для социального строя новую форму политической жизни.

Париж указывал теперь эту форму. Это будет Вольная Община, независимая Коммуна, а не национальный парламент. Не дожидаясь остальной Франции, Коммуна должна начать у себя, в своей более тесной среде, необходимые социальные преобразования. Рабочие союзы, как в Интернационале, должны стать ячейкою общественного производства. Их федерация составит Общину, а из федерации Общин сложится нация.

К несчастию, в жизни всякая новая идея должна считаться с пережитками старого, и консерватизм людей таков, что всякую, даже новую, нарождающуюся форму жизни они постараются сперва втиснуть в старые рамки. Так вышло и с Коммуною.

Следуя по протореной дорожке, Центральный Комитет, т. е. Совет рабочих депутатов, выбранных батальонами национальной гвардии,—вынесенный переворотом 18-го марта ко власти,—сейчас же пригласил парижан выбрать себе правительство. Вместо того, чтобы обратиться к рабочим массам и постараться создать, при их помощи, нового рода администрацию для снабжения всех жителей города пищею и для реорганизации промышленной жизни Парижа, Центральный Комитет назначил самые обыкновенные городские выборы. Замечательно, что весь Париж,

включая буржуазию, откликнулся на эти выборы,— до того все были недовольны правительством Тьера и его компании,—и 230,000 человек приняли в них участие. Выбраны были лучшие революционеры всех оттенков, и 28 марта собрался «Совет Коммуны». Центральный Комитет сдал ему всю власть.

Это была первая, тяжелая ошибка Коммуны. Отныне она имела свое правительство, и, как во всяком правительстве, в ее Совете оказалось гораздо более защитников старых воззрений, чем поборников новой идеи—гораздо более «демократов» старого закала, хотя и «революционеров» в смысле готовности к насильственным мерам,—чем сторонников Коммуны, рассматриваемой как ячейка социального переворота.

Такое понимание Коммуны еще не успело широко распростаниться; и далеко не все, особенно из так-называемых «интеллигентов», так понимали ее назначение. Революционеры из бланкистов и якобинцев, как буржуа, так и рабочие, в одинаковой мере, не придавали должного значения новому принципу независимой общины и федерализма—не понимали его.

А между тем эти якобинцы составляли большинство Совета Коммуны (около 60-ти членов), тогда как меньшинство, коммунистов-социалистов, составившееся преимущественно из членов Рабочего Интернационала, насчитывало всего 22 человека. При том, в первой группе стояли как раз те, которые, подобно Феликсу Пиа, или Делеклюзу, приобрели большую известность как «революционеры», а во второй группе стояли

именно «неизвестные» из народа. Для Якобинцев идея Вольной Коммуны, как ячейки для социальной перестройки народом, почти не существовала. Государство, а в государстве диктатура—их диктатура—было их идеалом. И, к сожалению, многие из молодых всею душою отдались этому якобинству. Властвованье—заразительно: мы уже успели в этом убедиться, даже в нашей русской революции.

III.

Два враждебных мира стояли друг против друга, в Версале и в Париже. В Версали собрался теперь весь тот чиновный мир, который правит Франциею в обыкновенные времена, весь торговый и банкирский круг, который грабит ее, и весь праздный мир богатых, который прожигает в безумной роскоши и разврате богатства, накопляемые трудом бедноты. И с невыразимою ненавистью смотрели они на этих восставших парижан, заставивших их покинуть Париж, как раз в ту пору, когда они собирались, по заключении мира, вернуться к веселью и разврату наполеоновских времен и подготовлять возврат империи, или, по крайней мере, короля, взамен ненавистной им республики. А в Париже—стоял рабочий народ, изгнавший своих правителей и владык, полный смутных надежд на что-то новое, что поведет людей к равенству и свободе.

Борьба между этими двумя мирами должна была завязаться не на жизнь, а на смерть. Один из про-

тивников должен был быть побежден и разбит. Соглашение было невозможно.

К сожалению, ни у рабочих, ни у сочувствовавших им революционеров из интеллигенции в ту пору не было определенного представления о том, что следует делать, с чего начать, чтобы идти к рисовавшемуся перед ними в тумане идеалу социальной республики. Интеллигенты жили традициями якобинцев 1793-го г., а рабочий Интернационал едва начинал познавать себя и свои рабочие задачи. Только в 1868 году на брюссельском конгрессе был поставлен вопрос о национализации земли, и год спустя, в Базеле, Бакунин поднял вопрос о том, что передача богатств по наследству должна быть уничтожена; но и то его предложение встретило мало сочувствия.

Мысль о том, что рабочие Парижа имеют такое же право на все дома в столице и на все ее фабрики и заводы (нужные для дальнейшей жизни), как и буржуа, владеющие ими по закону,—эта мысль, которую и в Интернационале еще не решались ставить открыто, была еще чужда рабочей массе, а тем более тем интеллигентам, которых восстание и выборы вынесли в Совет Коммуны. Громадное большинство их с полным еще уважением относились к личной, буржуазной собственности.

— «Отчего вы не экспроприировали? не об'явили, например, жилые дома городскою собственностью?» спрашивал я впоследствии членов Совета Коммуны.

которых знал в Швейцарии.—«Нам это не приходило в голову,—самое слово было чуждо», говорили они.

Конечно, эта мысль была так верна, что если бы она была выдвинута (а сделать это пробовали Варлен, Дюран, Малон и другие члены Интернационала), она была бы понята и одобрена рабочими. Но для этого требовалось время—а Коммуна жила всего только семьдесят дней. И лучшее время, начало движения, пора энтузиазма, было упущено.

Кроме того, присутствие немецкие армий вокруг Парижа парализовало силу революции. Всем было ясно, что если Коммуна выступит на путь социальных мер, немцы будут бомбардировать Париж и начнут его осаду, совместно с французскими армиями, которые они с этою целью и выпустили из плена и привезли в Версаль. Все это понимали, а теперь известно из обнародованной переписки, что Бисмарк действительно предлагал Тьеру и Жюль Фавру усмирить Париж, и что эти «патриоты» упросили немецкого владыку вернуть им из плена одну французскую армию, после чего они уже брались сами усмирить парижан.

Война—дикая, жестокая со стороны Версальцев—началась уже через две недели после провозглашения Коммуны. 2-го апреля версальцы захватили врасплох один пикет Коммуны и расстреляли его, а Галифе, наполеоновский генерал, теперь на службе у Тьера, хвастался этим в своей прокламации. Ясно было, что война будет на жизнь или смерть.

Началась правильная осада Парижа версальцами, с траншеями и подступами, для постановки батарей. Париж окружен довольно прочными стенами, с бастионами и рвами, и кроме того,—цепью фортов, которые были теперь в руках Коммуны, за исключением одного, чуть ли не главного, Мон-Валерьена. Сюда, по оплошности некоего Люлье и американского «генерала», Клюзерэ, назначенного военным «министром», не было введено гарнизона от Коммуны, а удовольствовались обещанием коменданта, оставаться нейтральным [1]). Обещание это, конечно, было нарушено. Когда, 3-го апреля, часть парижан, возмущенных поведением Галифе, решила идти походом на Версаль и двинулась двумя колоннами—одна на Кламар, а другая мимо Мон-Валерьена (полагаясь на его нейтралитет), комендант этого форта внезапно открыл смертоносный огонь по второй колонне, вследствие чего произошла, конечно, паника, которою Версальцы едва не воспользовались, чтобы ворваться в Париж [2]).

---

[1]) Бестолковое поведение Клюзерэ в Лионе, при объявлении Бакуниным Коммуны в Лионе, а потом в Марселе могло бы, впрочем, открыть глаза. Лично он был очень храбр, но народной войны не понимал.

[2]) В этом деле был убит Бержере, „генерал" Коммуны, и взят в плен Элизе Реклю. Когда он узнал о предполагавшемся походе на Варсаль, он, который отказался от всяких „мест", а просто стал с ружьем в ряды своего батальона, присоединился к волонтерам, шедшим на Версаль. Когда пленного Реклю, со связанными руками, вместе с другими пленными коммунарами, ввели в Версаль, их встретила куча

Раз началась война с Версалем, военная защита Парижа неизбежно поглотила все внимание. Но якобинцы и бланкисты, составлявшие большинство правительства в Коммуне, не поняли одного: что успех всякой войны зависит, прежде всего, от численности армии («бог войны всегда на стороне крупных батальонов», говорил Наполеон), и что в революционной войне численность армии прямо зависит от того, насколько революционно начавшееся движение. Чтобы защищать Париж, надо было поднять все его рабочее население; а поднять его можно было только, показавши рабочим,—фактами обыденной жизни,—что для них начинается новый строй общества, новая эра, эра *социальной революции*,—плоды которой самая скромная работница увидела бы в своей собственной жизни и обстановке.

Между тем, в то время, как во всякой рабочей семье стал вопрос,—чем заплатить за квартиру, и где на завтра достать хлеба?—ничего не было сде-

---

офицеров, расположившихся вдоль тротуаров, с кокотками под руку, и мужчины—кулаками, а кокотки—зонтиками били измученных и окровавленных пленников. „Один из них, говорил мне Реклю,—член Географического Общества, если не ошибаюсь, ударил меня из всей мочи кулаком в лицо—и без того измученный, я упал в обморок". Потом, когда их держали пленными, развратницы наполеоновской империи приходили смотреть их, как зверей.—„О, посмотрите, какое ужасное зверское лицо", восклицала одна из этих барынь, тыкая зонтиком в Реклю, которого чудное лицо, как известно, поражает своей вдохновенной и мужественной красотою.

лано, чтобы показать рабочему, что в Коммуне, для человека, готового работать, таких вопросов уже не может быть. Необходимости это сделать большинство членов Коммуны не понимало.—«Через Коммуну мы пойдем к социализму», говорили они; тогда как только социалистическими мерами можно было вдохновить рабочую массу на защиту Коммуны.

Самая идея, создать в революционной Коммуне—правительство, была ложная и пагубная идея. Только оставаясь в тесной, ежечасной связи с народом, могли эти революционеры стать на высоту своего положения. Вместо того они ушли от народа, заперлись от него, как самые обыкновенные бюрократы. Вместо того, чтобы вместе с народом, пользуясь народным умом, искать вместе с ним,—что делать, они, отделившись от него, с первых же дней брались, как все правители всех времен, «сделать» то-то, «решить» то-то, «излечить раны», «восстановить промышленность и труд», «двинуть вперед всю жизнь общества»...

Погибнуть на баррикадах,—это они могли, и действительно погибли, как герои. Но войти в образ мыслей рабочей массы, жить и думать с нею,—это было свыше их сил. Народу—они были чужаки.

Со времени первой осады немцами, большая часть парижской промышленности остановилась. Заработка не было, за квартиры платить было нечем, и у большинства рабочих накопились крупные недоимки. И

домовладелец, и рабочий пострадали от войны, но рабочий пострадал, конечно, гораздо больше хозяина, а потому было бы простой справедливостью признать, что платить за квартиры ничего не следует. Но этого Коммуна не сделала. Она об'явила, правда, что квартиранты могут не платить за последние девять месяцев, по 1 апреля 1871. Но когда было указано, какие нужны дальнейшие меры, чтобы указ перестал быть простою бумагою и перешел в жизнь,- то ничего для этого не было сделано[1]).

Но чем кормиться было рабочему? Чем кормиться семье того, кто проводил недели за неделями в бастионах, на стенах Парижа?--Им Коммуна назначила всего полтора франка в день—шестьдесят копеек! И это—в осажденном городе, где цены на припасы снова поднялись до невозможности. И это--тогда, когда Коммуна имела в своем распоряжении Французский Национальный Банк, который она охраняла от грабежа, и из которого ни одно правительство, раньше, не задумывалось черпать нужные ему на расходы суммы. Вместо того, Коммуна великодушно заняла у банка только восемь миллионов франков (меньше 3.000.000 руб.) сверх тех десяти миллионов, которые лежали в банке на счету у города Парижа.

Демократизм коммуналистов был таков, что самое высокое жалованье, которое мог получать кто-нибудь в Коммуне, было определено ею в 6.000 фран-

[1]) См. подробности об этом у Лефрансе в его прекрасной книге „Etudes sur le Mouvement communaliste"

ков в год. Себе же они назначили всего по 15 фр. (6 р.) в день, т.-е. жалованье хорошего парижского рабочего. И этой скромности, буржуа, привыкшие грабить государство, им не простили до сих пор. Но положение рабочего от этого было не лучше. Разве его семья могла кормиться на полтора франка в день! Нищета попрежнему была уделом тех, кто проливал свою кровь ради светлого будущего строя!...—«Rien de changé!» (все по старому!), говорили жена и мать рабочего, думавшие что Коммуна — это, наконец, революция для народа... Только под самый конец, когда народ стал брать дело в свои руки, стали устраивать в рабочих кварталах общественные кухни. И тут—благотворительность, вместо **права на жизнь, на довольство.**

И увы—нужно тоже сказать, что если большинство Совета, живя мыслями в политическом прошлом, не понимало нужд народа, то меньшинство совета коммуны, большею частью социалисты, тоже не сумели взять на себя почин нужных мер. Они не были достаточно *революционны*, т.-е. не умели достаточно смело порвать со старым.

Все что коммуна сделала для рабочих, это 1) назначение «Комиссии инициативы», составленной из представителей рабочих обществ, Интернационала и т. д. для выработки экономических докладов и проектов; 2) прекращение ночной работы в булочных; 3) мастерские, покинутые хозяевами, после должного следствия, переходят в руки рабочих ассоциаций; и

4) Коммуна послала в провинции полу-социалистическое воззвание, составленное Малоном и писательницею Андре Лео. Малон рассказывал мне, как трудно было добиться разрешения на это последнее. Что же до закона о мастерских, то он так и остался на бумаге.

Главное, что требуется для успеха всякой революции, это — революцонность мысли: способность выступить на новые пути жизни, способность изобрести новые формы борьбы и суметь понять те неясные указания на новый строй, которые дает народная жизнь. Всякая революция есть эпоха прогресса в человечестве, а прогресс обусловливается, прежде всего, созидательным творчеством.

Не в том состоит революционность, чтобы повторять приемы предшествующих революций, или не останавливаться ни перед какими средствами для истребления врагов, защитников старого порядка,— средствами, большей частью старыми, как свет, так как ими пользовались во все времена все получавшие власть. Во всякой борьбе, как во всякой войне, успех бывает на стороне тех, кто пускает в ход новые способы борьбы,—тем более в революционной борьбе.

В данном случае, парижский народ, вооруженный во время войны, указал новый способ борьбы со старым миром: Коммуну; и задачею истинных революционеров должна была быть—развивать это великое, плодотворное начало во всех направлениях, во всех

отраслях общинной жизни—как это делали восстававшие Коммуны в средние века, в двенадцатом столетии, когда начало общинной жизни и независимости они проводили во весь строй общины (уличанское вече, уличанская и гильдейская милиция, общинная покупка запасов, гильдейский склад жизни, свой суд в квартале, в гильдии и т. д. и т. д.). Но оказалось, что изсушенные буржуазно-авторитарною цивилизациею девятнадцатого века, даже лучшие люди оказались совершенно неспособными ни на какое творчество новых форм жизни. Хуже того, они не понимали их возможности, их необходимости: они даже не думали, чтобы требовалось что либо, кроме избитых форм парламентского представительства и начальствования, с неизбежной лестничной иерархией. И когда раздавались смутные голоса, скромно замечавшие, что нужно что-то другое, что-то новое, чтобы создат Коммуну; что Парижская Коммуна, заставившая биться сердца миллионного населения, пока еще только имя, форма, для которой надо найти ее действительное содержание,- их не понимали.

Но народ? Отчего же народ сам не выдвинул этой задачи: созидания Коммуны, которая, созидаясь, каждый день привлекала бы на свою сторону новые силы? Отчего он не начал творить, созидать, и всей Франции, стоявшей в недоумении, спрашивавшей себя: „Что такое происходит в Париже?"—не показал, что там зарождается новый строй обществен-

ной жизни, который все повседневные отношения людей переустраевает на началах равенства и справедливости? отчего?

Да оттого, что народ, рабочая масса, тоже несет отпечаток тех форм, в которые выливается буржуазная наука. Статья, написанная в рабочей газете, речь, произнесенная на собрании, формулированное предложение, внесенное на собрании — все это требует литературной формы, уменья владеть речью или пером, образования, черпаемого из книг. И рабочие, необходимо обращающиеся к книге, становятся во всем этом в крепостную зависимость от литературы, созданной буржуазией для укрепления своих, буржуазных идеалов, от ее форм мышления, от ее идеалов общественной организации.

Но одно надо сказать к чести Парижской Коммуны. Среди ее интеллигенции, рабочей и буржуазной, было уже небольшое ядро, которое понимало, что не в диктатуре дело, не в якобинстве, а в чем-то таком, что надо сделать на месте, в самих рабочих кварталах, и что это нечто, которое надо сделать, одно в силах спасти Коммуну и противопоставить версальцам силу, которая удержит их натиск и откроет провинциальной Франции глаза на великую борьбу, начавшуюся в Париже. Такое ядро было, и оно даже имело своих представителей в правительстве Коммуны, в меньшинстве ее совета.

Но и это меньшинство обессилило себя. Составлявшие его рабочие интеллигенты думали, что их

долг был войти в правительство Коммуны и взять на себя полную долю ответственности, в случае если— как они предвидели – восстание закончится поражением.

И они вошли в Совет Коммуны. А раз они были там, они почувствовали, что сразу были оторваны от народа. Все время их оказалось властно захвачено всякими пустяками, административной сутолокой и т. п. Надо было поднимать население, а им приходилось убеждать друг друга в самых насущных мерах, надевать красный шарф и венчать в Мерии, подписывать свидетельства о благонадежности и вести сложную отчетность,—словом поддерживать всю обычную скрипучую, административную машину.

И когда в рабочей среде, которая изнутри видела и жизнь батальонов в бастионах, и жизнь бедноты в рабочих кварталах, а не из окон Городской Ратуши, — когда среди рабочей бедноты высказывались тысячи мыслей о том, что следовало бы там-то пустить в ход такую-то мастерскую, тут-то открыть общественную кухню, так-то организовать продовольствие такого-то предместья и так-то составить боевые батальоны, — некому было даже обсудить, оформить эти мысли и приложить их к жизни. Ибо интеллигенты-коммунары, живя традициями воображаемой диктатуры Конвента в 1793 и 1794 году, и совершенно не зная истинной жизни Парижа в эту пору—

кипевшей в его сорока восьми секциях *) — даже не подумали о том, чтобы были органы для проявления этой народной жизни. Народная сущность революционной Коммуны 10-го августа 1793 года была им чужда. От этой Коммуны они взяли только имя.

Стотысячная армия Версальцев, привезенная из немецкого плена, и армия немцев вокруг Парижа, — все это, конечно, были силы, которые нелегко—скажу больше: нельзя было победить. Но Коммуна могла продержаться более двух месяцев, а каждый лишний день, что она продержалась бы, давал ей возможность открыть глаза провинциальной Франции. Признаки пробуждения уже были несомненные. Попытки провозгласить Коммуны были сделаны в Сент-Этьенне, Лионе, Марсели, Нарбонне, и симпатия к Парижу росла.

Провинция могла, если не стать за Париж, то, по крайней мере, стать между версальцами и Парижем, и тогда падение Коммуны не закончилось бы дотоле неслыханным в истории кровопролитием. И торжество реакции не было бы так полно. Оно не продержалось бы доныне. Оно не убило бы мысли, как ее убили последние тридцать пять лет торжества немецкого военно-государственного духа.

---

*) Эту жизнь только теперь мы узнаем из новейших работ о Великой Революции.

IV.

Что парижские рабочие обладали поразительными организационными силами, и могли бы организовать действительно новый организм, Коммуну, если бы только дали волю творческому духу социальной революции,—это они блистательно доказали. Когда Тьер покинул Париж, он приказал всем государственным чиновникам оставить свои места и выехать немедленно в Версаль. Большинство так и сделало, и, таким образом, почта, мерии и все министерства остались без чиновников. Но почтальоны остались, и тогда, в два-три дня, член Коммуны, Тейс, вместе с почтальонами и мелкими служащими, реорганизовал почту так, что иностранные корреспонденты, оставшиеся в Париже, восхищались ее организацией. То же было сделано в министерствах. Вообще организационные способности рабочих вызывали удивление всех участников восстания.

Любопытно также, что хотя в Париже не было полиции (полицейские и шпионы, к сожалению, остались и «работали» втихомолку в пользу Версаля), хотя не было ни судов, ни судей, ни жандармов, и не ходило даже вооруженных патрулей по улицам,—случаев грабежа и личных нападений вовсе не было. Все иностранцы заметили тогда, что при Коммуне, в Париже, было безопаснее, чем когда-либо...

А тем временем, траншеи версальцев все ближе подступали к главным западным воротам Парижа, а установленные ими тяжелые батареи бомбардировали

укрепления и западные предместья. Гранаты бороздили все время их улицы и решетили дома. Жить в этих предместьях стало невозможно. Некоторые форты пришлось сдать. Защита становилась все труднее и труднее.

Совет Коммуны сместил Клюзерэ, заменив его Росселем, а вскоре сменил и Росселя, заменив его стариком Делеклюзом; но батальоны, выходившие на защиту стен, редели с каждым днем.

Наконец, 21-го мая, версальцы вступили в Париж,– одновременно двумя воротами: Отейль, против Елисейских Полей, и Версальскими на левом берегу — и тут началось то страшное кровопролитие и истребление рабочих, длившееся восемь дней, — которое известно в истории под именем Кровавой Недели.

Быстро подвигаясь вперед, версальские армии заняли высокие кварталы западного Парижа и Марсово Поле на левом берегу. На другое утро их гранаты обстреливали уже улицы Риволи и Сент-Онорэ и зажгли министерство финансов, а также много домов на левом берегу. Рабочие оставляли защиту внешних частей города и, как в 848-м году, шли защищать свои бедные кварталы, на левом берегу и в Монмартре. И тут, в этих кварталах, уже раньше обагренных кровью рабочих, вырастали герои, и десятки тысячи мужчин, женщин и даже детей воздвигали баррикады и, как львы, дрались для их защиты.

На правом берегу, в барской части Парижа, версальцы продолжали наступать. Защитники Коммуны

зажгли Тюильрийский дворец — этот памятник всех гнусностей королевской власти и двух империй, и решили сосредоточить главную свою зашиту на правом берегу, вокруг Ратуши, окруженной громадными баррикадами, а на левом—в южной части города, в кривых, узких улицах старого Парижа. Но в среду утром, 24-го, они с ужасом увидали, что Ратуша —этот центр революционного Парижа, где была сосредоточена также масса снарядов, внезапно запылала так же, как и Префектура... Оба здания были подожжены агентами версальцев. Баррикады, окружавшие Ратушу, пришлось покинуть.

Народ теперь брал дело в свои руки.—«Довольно галунов! место народу!» писал старик Делеклюз — якобинец, но якобинец, веривший в народ — в своей знаменитой предсмертной прокламации, и сам вмешался в темные ряды рабочих, чтобы пасть на защищаемой ими баррикаде.

Исступление овладевало версальскими войсками. Они получили приказ расстреливать всех пленных, и расстреливали со злобой, с остервенением... Рабочие, с своей стороны, решили дорого продать баррикады своих родных кварталов—улицы Сен-Жак, площади Пантеона, на левом берегу Сены, и Монмартра на правом. Но версальцы не брали баррикад приступом. Пробиваясь топорами и ломами из дома в дом, они пробирались в тыл баррикадам, и тогда перестреливали в упор их защитников. Если рабочие сдавались, — их вели в плен, и по дороге Галифе и другие генералы

приказывали вывести 20, 30 человек — «берите седобородых: они знали 48-й год» приказывал Галифе, — и расстреливали тут же, на улице, оставляя на месте кучи убитых и раненых.

У внешних стен пленных ставили на край крепостного рва, у подошвы стены, и с другого берега рва в них стреляли митральезами, «кофейными мельницами», как острили версальцы. Трупы валились, вместе с ранеными, во рвы. На площадях расстрелянных сваливали в ров и заливали известью. На следующее утро виднелись руки, высунувшиеся в ужасных мучениях из-под извести. Над трупами женщин — а много рабочих женщин сражалось на баррикадах — солдаты выделывали невозможные ужасы.

«Расстреливайте их волков, волчиц и волченят!» вопили «представители народа» в версальской Палате — и после этой бойни Палата вотировала единогласно благодарность армии...

Самые точные подсчеты, сделанные Клемансо, во время подробного следствия, дают, по меньшей мере, 35.000 человек убитых за одну неделю — преимущественно расстрелянных версальцами военнопленных.

А затем начались аресты и ссылка — все ужасы плена на плато Сатори, где в пленных стреляли в упор, если кто-нибудь из них поднимался с мокрой от дождей земли, — все ужасы тюрем и Новой Каледонии. Около 100.000 парижских рабочих было перебито или сослано после поражения Коммуны.

И, перебирая все ужасы «Кровавой недели», рабочие выводили такое заключение: Положим, что вокруг Парижа стояли немцы, которые пришли бы на помощь буржуазии—послали же они своих броненосцев расстреливать Картагенскую Коммуну! Но помимо этого, — стоило ли рабочим так бережно относиться к буржуазной собственности? Если бы они, не слушая вожаков, смело, дерзко признали народною собственностью все дома, фабрики, банки, магазины и все богатства Парижа, и если бы эта первая социальная революция тоже кончилась бы разгромом, — месть буржуазии могла ли быть более свирепой?

Но память об этих зверствах живет в Париже — во Франции. Нигде в мире вражда рабочего против буржуа не залегла так глубоко в сердца народа, как во Франции, в Париже. Нигде в мире рабочий так не изверился в политические революции. Нигде он не понимает так хорошо, что в следующую революцию — его черед выступить вперед самому, и самому наложить руку на богатства, им же созданные.

И следующая революция во Франции—в этом нет сомнения—начнется при крике: «да здравствует Коммуна!» Но в этот раз — Коммуна народа, рабочая Коммуна, Коммуна, которая всем даст кров и пищу — Коммунистическая Коммуна освобожденного народа.

Содержание.

Стр.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

„ГОЛОС ТРУДА“

Книжный и писчебумажный магазин:

МОСКВА, Моховая, 22. Тел. 5-73-47.

Выпущены в свет следующие книги и брошюры:

М. Бакунин.—Избран. соч. т. I. Государственность и Анархия, с биографич. очерком В. Черкезова (второе изд.). Ц. 1 р.

Его же.—Т. II. Кнуто-Германская Империя и Социальная Революция, с предисловием и примечаниями Дж. Гильома (второе издание). Ц. 1 р.

Его же.—Т. III. Бернские Медведи и Петербургский Медведь; Речи и статьи по Славянскому Вопросу; Народное Дело; Речи на конгрессах Лиги Мира и Свободы; Федерализм, Социализм и Антитеологизм. Ц. 1 р.

Его же.—Т. IV. Организация Интернационала; Политика Интернационала; Письма о Патриотизме; Письма к французу; Парижская Коммуна и понятие о Государственности. Ц. 1 р.

Его же.—Т. V. „Альянс“ и Интернационал. Интернационал и Мадзини. Ц. 1 р.

Его же.—Бог и Государство (разошлось).

Дж. Баррет.—Анархическая Революция. Ц. 10 к.

А. Боровой.—Личность и Общество в Анархистском Мировоззрении. Ц. 15 к.

К. Н. Вентцель.—Теория Свободного Воспитания и Идеальный детский сад. Ц. 50 к.

Дж. Гильом.—Интернационал (Воспоминания и материалы). Т. I—II. Ц. 75 к.

Его же.—Карл Маркс и Интернационал. Ц. 25 к.

Эмма Гольдман.—Анархизм. Ц. 20 к.

И. Гроссман-Рощин.—Характеристика Творчества П. А. Кропоткина. Ц. 15 к.

Ж. Грав.—Будущее Общество (разошлось).

Его же.—Синдикализм в общественном развитии. Ц. 5 к.

М. Гюйо.—Нравственность без санкции и обязательств. Ц. 1 р.

Виктор Дав и Жорж Ивто.—Фернанд Пеллутье и революционный Синдикализм во Франции. Ц. 15 к.

С. Заяц.—Как мужики остались без начальства. Ц. 5 к.

Ж. Ивто.—Азбука Синдикализма (разошлось).

М. Корн.—Революционный Синдикализм и Анархизм; Борьба с капиталом и Властью и др. Ц. 20 к.

П. Кропоткин.—Записки Революционера. Под редакцией автора и с предисловием Георга Брандеса. Ц. 2 р.

Его же.—Речи бунтовщика, с предисловием и послесловием автора (к новому изданию.) Ц. 1 р.

Его же.—Хлеб и Воля, с предисловием автора к новому изданию (второе издание). Ц. 80 к.

Его же.—Современная Наука и Анархия (перевод под редакцией автора). Ц. 1 р. 10 к. (в переплете 1 р. 50 к.).

Его же.—Поля, фабрики и мастерские. Ц. 1 р.

Его же.—Взаимная помощь (вновь пересмотренное и дополненное, с предисловием автора к этому изданию) Ц. 1 р. 20 к.

Его же.—Этика. Т. I (посмертное издание). Ц. 1 р. 25 к.

Его же.—Великая Французская Революция. Ц. 2 р. 50 к.

Его же.—Справедливость и Нравственность. Ц. 15 к.

Его же.—К чему и как прилагать труд ручной и умственный (сокращенное изложение книги „Поля, фабрики и мастерские). Ц. 15 к.

Его же.—Анархия (разошлось).

Его же.—Анархическая работа во время Революции. Ц. 10 к.

Его же.—Коммунизм и Анархия. Ц 10 к.

Его же.—К молодому поколению (разошлось).

Его же.—Политические права (разошлось).

Его же.—Новый Интернационал (разошлось).

Н. К. Лебедев.—Элизе Реклю, как человек, ученый и мыслитель. Ц. 20 к.

Его же.—К истории Интернационала. Этапы международного об'единения трудящихся. Ц. 20 к.

Н. К. Лебедев.—Евгений Варлен мученик Парижской коммуны. Ц. 25 к.

С. Лурье.—Антифонттворец древнейшей Анархической системы.

Э. Малатеста.—Избранные сочинения (разошлось).

Его же.—Анархизм (разошлось).

Его же.—Краткая Система Анархизма (разошлось).

Его же.—Крестьянские речи. Ц. 20 к.

Лев Мечников.—Цивилизация и великие исторические реки. Ц. 1 р. 50 к.

М. Неттлау.—Жизнь и деятельность Михаила Бакунина. Ц. 20 к.

Его же.—Взаимная ответственность и солидарность в борьбе рабочего класса. Ц. 5 к.

Д. Ньювенгуис.—Бог и его прошлое и настоящее. Ц. 75 к.

Э. Пато и Э. Пуже.—Как мы совершим революцию, с предисловием П. А. Кропоткина Ц. 50 к.

Э. Пуже.—Избранные сочинения по вопросам Синдикализма Ц. 40 к.

Ф. Пеллутье.—История Бирж Труда (разошлось).

М. Р—ский.—Франциско Феррер и его Новая Школа. Ц. 30 к.

Элизе Реклю.—Избранные сочинения (с предисловием П. А. Кропоткина). Ц. 60 к.

Сборник памяти П. А. Кропоткина, под редакцией Н. К. Лебедева и А. А. Борового. Ц. 1 р. 10 к.

Свободное Трудовое Воспитание.—Сборник статей под редакцией Н. К. Лебедева. Ц. 50 к.

В. Траутман, Дж. Эттор и В. Сэнт-Джон.—Производственный Синдикализм (Сборник статей об индустриализме, с предисловием А. Шапиро). Ц. 25 к.

Вера Фигнер.—Студенческие годы. Ц. 1 р.

С. Фор.—Преступление Бога (третье изд.). Ц. 25 к.

В. Черкезов.—Предтечи Интернационала; Доктрины Марксизма; Распад среди социалистов-государственников; Наконец-то сознались (ответ Каутскому). Ц. 60 к.

Печатаются и в скором будущем выйдут в свет:

Дж. Гильом.—Интернационал (Воспоминания и материалы). Том III и IV.

Элизе Реклю.—Парижская Коммуна изо дня в день. (Дневник событий 1871 года).

С. Фор.—Мировое счастье.

М. Неттлау.—Михаил Бакунин.

П. Рамус.—Вильям Годвин.

По всем вопросам, связанным с издательством, обращаться: „Голос Труда“, *Москва, Моховая ул., 22, тел. 5-73-47.*

Все книги высылаются наложенным платежом и заказными отправлениями.

Организациям и библиотекам значительная скидка.

ТРЕБУЙТЕ КАТАЛОГ.